Страшные
святочные истории
русских писателей
Серия «Рождественский подарок»

Рождественский подарок

Сборник

Страшные святочные истории русских писателей

«Никея»
2018

УДК 821.161.1
ББК 84Р7

Сборник

Страшные святочные истории русских писателей / Сборник — «Никея», 2018 — (Рождественский подарок)

ISBN 978-5-91761-780-0

Святочные рассказы в русской литературе – особый жанр, любимое чтение в кругу близких долгими зимними вечерами. В этот сборник вошли святочные «страшилки» русских писателей, в том числе и малоизвестных. Истории объединены темой Святок – загадочных зимних дней, когда чудеса кажутся возможными, и герои, натерпевшись страху и взывая ко всему святому, рассеивают наваждение и становятся чуть лучше, добрее и смелее.

УДК 821.161.1
ББК 84Р7

ISBN 978-5-91761-780-0

© Сборник, 2018
© Никея, 2018

Содержание

Николай Полевой 5
Евгений Баратынский 13
В. Дмитриев 20
Дмитрий Григорович 25
I 25
II 28
III 32
IV 36
V 40
Конец ознакомительного фрагмента. 43

Сборник Составитель Татьяна Викторовна Стрыгина Страшные святочные истории русских писателей

Николай Полевой (*1796–1846*) Святочные рассказы

В Москве, доброй, как называл ее Карамзин, живало в прежние годы много стариков, живых летописцев прошедшего. Удаленные от шума столицы на Пресненские пруды, в Замоскворечье, на Земляной город, они тихо доживали и договаривали свой век: человек любит поговорить, когда не может действовать; кто действует, тот говорит мало. Я узнал Москву давно и слышал еще в ней рассказы и были елисаветинского и екатерининского века; видел людей в пожелтелых мундирах, с белыми как снег головами, с кагульскими рубцами[1] на лице и со значками за взятие Хотина[2] и завоевание Крыма. Я был тогда еще молод, но уже любил слушать их бесконечные рассказы, любил переселяться с ними от действительности к прошедшему. Когда мне бывало грустно, когда мне бывало весело, я всегда охотно слушал добрых стариков, рассказывавших мне свои были и небылицы: они переносили меня в круг людей, давно не существовавших, живо рисовали предо мною и ужасы московской чумы, и бунт Пугачева, и китайское посольство в Петербург, и шведского адмирала, пленявшего всех московских красавиц, лет за сорок до нашего времени. Русские сказки, русские рассказы и повести всегда мне нравились, и могу ли исчислить все, что я переслушал от добрых старожилов московских! Могу ли передать вам все их предания о мечтах и надеждах, давно уснувших с мечтателями, о порывах сердец, кипевших сильными страстями и давно охолодевших в могиле, о старых поверьях и обычаях!

Хочу, однако ж, рассказывать иногда вам, друзья мои, кое-что из того, что сам слыхивал, и вот теперь, кстати на Святках, послушайте, что мне удалось услышать в один только вечер в беседе нескольких стариков.

Вам нет надобности знать, сколько лет прошло тому, как жил в Москве один человек старый, добрый, любезный, словоохотливый. Много, мало: не все ли равно? Я уважал его как старика и любил как человека. В его семействе провел я несколько часов счастливой юности. Тогда еще глядел я на свет сквозь призму надежд, жил в области мечтаний. Улыбка прелестной девушки,

И соловей в тени дубравы,
И шум безвестного ручья

[1] То есть с рубцами от ран, полученными в ходе сражения при Кагуле (1770 г.) во время Русско-турецкой войны.

[2] *Хотин* – крепость в Турции. Впервые русские войска заняли ее в 1739 г.

радовали меня чистою, беспритворною радостью! Когда вечером, вокруг камина, собиралось доброе семейство моего старого друга, когда ты оживляла его собою, ты, которую я назвать не смею, которая после отказалась от счастья и променяла его на блестящую куклу большого света: я счастлив бывал в то время! Но полно о ней! Скажу вам, что дружеская беседа наша украшалась иногда присутствием старинных друзей нашего хозяина, также разговорчивых, веселых и добродушных.

Были, как теперь, Святки. Где мог я лучше и веселее провести длинный зимний вечер, если не у моего старого друга? Еду к нему. Погода была несносная: снег хлопьями падал, и сугробы его переносило вихрем с места на место. Тем милее было после трудного путешествия отдохнуть в теплой, светлой комнате, с людьми счастливыми и веселыми.

Я застал полное собрание. Хозяин, в своем колпаке и татарском халате, занимал главное место возле камина. Дым вился из трубки его сослуживца, суворовского воина, подле которого сидел наш общий знакомец (назовем его хотя Терновский: Милоны, Добровы и Правдины уже надоели нам в русских комедиях). Это был добрый философ, который верил всем привидениям, всем колдунам, всему чудесному на свете и все старался изъяснять, как он говорил, естественным образом. Присовокуплю к этому Шумилова, доброго старика, который на своем веку объездил пол-России, видел все, что рассказывал, рассказывал обо всем, что видел, и был записной охотник рассказывать русские были и сказки. Я застал у них жаркий спор о каком-то деле первой Турецкой кампании[3], но в то же время заметил желание хозяина говорить о чем-то другом.

У него была странная привычка говорить всегда о том, что прилично времени и обстоятельствам. Кроме обыкновенных рассказов о его путешествии на Кавказ, поездке в Польшу и знакомстве там с Костюшкою[4] (об этом когда-нибудь расскажу вам особо), он любил поговорить о политике, когда получал газеты, о полярных землях зимою, об Африке в жаркий летний день и о привидениях накануне Ивана Купалы.

Круто повернул он разговор, спрашивая меня о погоде, и известил, что все его домашние уехали на вечер к одному из знакомых. «Я думал, – прибавил он, – что и ты там будешь».

– Нет! Меня звали, но я отказался.

– А для чего? Пока молодость, надобно веселиться и играть жизнью. Будет пора и для тебя, когда дома, подле камина, будешь казаться веселее, нежели на бале.

– А вы сами всегда следовали этому правилу?

– О! Да как еще следовал! На меня не пожалуются мои ровесницы, чтобы я скуп бывал на ласковые приветствия и мадригалы, и в менуете a la Reine[5] никто лучше меня не умел вытянуть ноги, учтивее приветствовать свою даму. Вы, нынешние молодые люди, сидни, а мы были настоящими молодцами.

– Напротив, ныне жалуются на ветреность молодых людей.

– Правда, но ведь это вечная жалоба; а разбери-ка хорошенько, то увидишь, что вы сделались увальнями против нас и заменяете все какою-то американскою дикостью! Нет правила без исключений (прибавил он, пожимая мою руку). Я говорю вообще. Начнем с нашего убора: какие мы были щеголи! Стальные светлые пуговицы, барсовые, полосатые кафтаны, пряжки на башмаках, двое часов с огромными пучками привесок; можно ли сравнить ваши темные куртки, вашу матросскую одежу с таким великолепным нарядом! А учтивость? Дама казалась царицей в нашем кругу; вы оборачиваетесь к дамам спиною, толкаете их и не думаете уважать.

---

[3] *Первая Турецкая кампания* – Русско-турецкая война 1768–1774 гг.

[4] *Тадеуш Костюшко* (1746–1817) – организатор и руководитель польского восстания 1794 г.

[5] Королевы *(фр.)*.

– Знаешь ли, когда это началось? – сказал суворовский сослуживец. – С Французской революции. Тогда как мы били революционеров в Италии, наши дамы ахали от всклоченных их голов, от либерального платья их, остригли себе волосы, надели парики…

– Но что ж тут худого? – подхватил Шумилов. – Все это в порядке вещей: ныне любят простоту, менее блеску снаружи, больше внутреннего достоинства.

– Если бы так! – сказал хозяин. – А беда в том, что, мне кажется, нынешняя молодежь – те же стеклянные куклы, что были мы, только мы были прозрачные, хоть сквозь глядись, а ныне этих кукол красят темной краской.

– Ты противоречишь естественным действиям природы, – возразил Терновский. – Свет делается не хуже, а лучше: это решенная задача. Только наши братья-старики твердят, что свет стал или становится хуже.

– Друг мой! Этого я никогда не скажу; а дело в том, что свет твой, становясь умнее, не делается счастливее.

– Что такое счастье? Понятие относительное! Кто становится лучше, тот должен быть счастливее.

– Похоже на силлогизм; да воля твоя, а прежде как-то было живее. Мы больше умели жить: были молоды в молодости и оттого дожили до седых волос; но Бог знает, увидят ли наши потомки стариков из нынешнего времени. Теперь стареют так рано и оттого, может быть, не успевают жить или, боясь не успеть, спешат жить и оттого рано стареют. У нас было прошедшее, настоящее и будущее; теперь живут в одном настоящем. Молодежь не думает о будущем, а мы только твердим о прошедшем; жизнь развивается, как часовая гиря: часы бьют, всякий человек говорит: как поздно! – и слова пролетают со звоном часового колокольчика, пока гиря стукнет в пол…

– Тогда ее опять заведут, – сказал, смеясь, Шумилов, – и опять часовой колокольчик начинает названивать: летит невозвратное время! Это было давно сказано.

– Может быть, я худо выразил свою мысль, – отвечал хозяин, – говоря, что прежде живее умели жить…

– Разумеется, живее, как дети, которые лучше взрослых умеют восхищаться игрушкой.

– Хорошо, да кто счастливее: дитя ли с своей игрушкой или философ, исчахший над истинами. Ты говоришь: свет стал умнее! Бог знает, мой друг! Полно, не умничает ли он больше прежнего? Сердечно радуюсь нынешнему философскому веку, а как ни смотрю на людей, они все те же люди; те же, а важная разница! Прежде больше было этого, как бы сказать, веселья жизни, без которого в свете холодно, как без печки в трескучий мороз. Оно, коли хотите, обманывает нас своим волшебным фонариком, но людям с ним весело.

– Ты глядишь на свет с одной стороны, – сказал Терновский.

– Со стороны сердца! Шалун Вольтер был очень прав и, вероятно, от сердца сказал, оканчивая забавную свою сказочку:

Le raisonneur tristement s’accredite;
On court, helas! apres la verite;
Ach! croyez-moi, l’erreur a son merite.[6]

– Разумеется. Голая истина еще не по веку гостья. Я уверен, что она ужаснула бы нынешнего человека, если бы он взглянул на нее лицом к лицу.

[6] Печально, но верят лишь резонеру;Гоняясь, увы, за плоской истиной;Ах, поверьте мне, заблуждения имеют свою прелесть (фр.).

– Вот: насилу ты со мной соглашаешься! Зачем же свет отказывается от своей юности: еще рано и спешить бы незачем. Истина только выглядывает еще из своего колодца; ей дают щелчки, и она опять прячется. Ум человеческий еще бродит в костылях глупости, когда сильная подагра мешает ей самой шататься в мире.

– По миру, – сказал Терновский, – доброхотных дателей довольно, а люди, как разносчики, ходят между тем и кричат: «Ум! Свежий ум!» Развернешь коробочку: она пустая.

Все засмеялись.

– Что мы зафилософствовали, – сказал суворовский сослуживец, – примеров нечего искать далеко. По-моему, старый век и новый век то же, что старый серебряный рубль и новый.

– Сравнение недурно, – сказал Шумилов, – но ведь новый рубль все рубль для того, у кого нет старого: так и в свете; и знаете ли что? Я помню, когда я был в Сибири и мне надобно было заплатить якутскому шаману за ворожбу его, я вынул два рубля и хотел отдать ему старый, он сказал мне: «Теён бачка! Дай мне вон этот светленький!»

– Да светленький ли наш век? Он похож на монету, на которой клеймо худо выбито.

– Вспомни старое, приятель! – сказал хозяин. – У нашей монеты клеймо было грубее, да яснее. Посмотри хотя на нынешние веселья: такое однообразие, все так расхоложено! В танцах ходят, с радости делают гримасы и с горя улыбаются. Мы плакали с горя, зато с радости хохотали. Повторяю, что сказал: прежде бывало больше житья, больше разнообразия в бытье!

– Если хотите, – сказал Терновский, – то чем далее в старину, тем бывало больше. Таковы естественные действия природы. Выигрывая в уме, мы теряем в сердце. Наши предки оживляли все: у них являлись духи, привидения, волшебники, а мы знаем, что все это естественные действия природы.

– И жаль, что мы это знаем, – прибавил Шумилов. – Нынешним стихотворцам горе, да и только: нечего списывать с самих себя! А посмотрите, сколько найдут они в старине нашей и иноземной!

– И посмотри, как охотно всякий поделится с нами наслаждением стариною, – сказал хозяин. – Нет! Право, мы еще жили если не лучше, так веселее. Возьмем спроста: вот теперь Святки. Чем отличаются они от Святой недели? У нас на все был свой манер! Бывало, о Святой мы строим качели, о масленой катаемся с гор, а о Святках поем подблюдные песни.

– Загляните ж в старину постарее нашей, – сказал Терновский. – Уж и мы более смотрели на эти игры, а предки наши более играли в них сами. Да и я люблю старину, хоть не соглашаюсь, что тогда было лучше. Я люблю ее, как дитя, которое беспечно и невинно, боится трубочиста, оттого что он черен и с хлопушкой в руках прыгает от радости.

Тут начался между ними разговор о старине, об ее весельях и забавах.

– Помнишь, – сказал хозяин Шумилову, – наши святочные вечера! Бывало, соберется народу множество и пойдет потеха. Днем катанье: саней пятьдесят едут одни за другими, что говорится, дуга на дуге, как свадебный поезд; вечером начнутся фанты, песни, гаданье: бегаем полоть снег, слушать под окнами…

– Девушки выбегают за ворота спрашивать имена прохожих и крепко, бывало, верят, что так зовут жениха, как скажется прохожий, а мы проказим, – сказал Шумилов.

– А иголка в жерновах разве правды не сказывала? Бедная иголка пищит, а ворожеи угадывают: чье имя выговаривает страдалица.

– Мало ли проказ, – сказал, смеючись, Шумилов, – но спросите меня: я видал, как в Сибири прежде проводили Святки. Вот уж праздник! Что за веселье! Старики и старухи, молодежь, дети ходят в гости с утра до вечера. У всякого на столе питеры и едеры, как говорят сибиряки. Русскому хлебосольству полный разгул. Хворосты, тарки, сахарники[7] взгромождены на столах горами; самовары кипят беспрестанно. От мороза кровли трещат и ставни палят, как

[7] *Тарки* – слоеное печенье. *Сахарники* – сладкие сухарики.

из пушек, а в горницах тепло и жарко. В шубах, в шапках, в теплых сапогах, сибиряки и сибирячки толпами выезжают на бег, там большие охотники до бегунов: сибирские рысаки и иноходцы мчатся как вихорь. Иззябнув, все едут пить чай к победителю. Начинаются здоровья, пир горою! Вина кипят, смеркается, пойдут игры: старики садятся кружками и смотрят, как красивый мужчина или хорошенькая девушка, с завязанными глазами, под хлопанье жгутов ловит рассыпанных неприятелей своих. Смех! Хохот! Иной, бегая из угла в угол, бежит от ловца в другую комнату. «Он сгорел!» – кричат все, и преступник заступает место слепца. Ах! Как мне нравятся также другие простые святочные игры сибиряков! Знаете ли вы, как растят мак?

– Я сам бывал маком! – вскричал суворовский. – Бывало, поставят меня в кружок, пляшут, поют и спрашивают: «Поспел ли мак?» Но мак сперва сеют, полют, он цветет, а потом, поспелый, все щиплют!

– Я слыхал, – примолвил Шумилов, – что многие святочные игры перешли к нам от греков когда-то в старину. Вспомните игру заплетать плетень, когда лентами перепутывается весь хоровод и поют:

Заплетися, плетень, заплетися.
Ты завейся, труба золотая,
Завернися, камка хрущатая!

Это, говорят знатоки, подражание греческой игре, а игрой этой греки славили память Тезея и убиение Минотавра с помощью Ариадниной нитки. «А жив, жив курилка» также игра греческая. Зато у нас есть свои русские игры и обычаи святочные. Знаете, что такое колядованье в Малороссии?

– Слыхал, и мне жаль, что не соберут в какой-нибудь книге всех святочных русских обычаев, игр, песен. Прежде праздник Святок праздновали, бывало, до самого Крещенья. С самой заутрени первого дня начиналось христославленье. Петр Великий любил этот патриархальный обряд. Толпы народа ходили из дома в дом, приятели к приятелям и незнакомые к незнакомым, петь духовные стихиры:

«Христос рождается, славите!» За ними мастера проговаривали рацеи[8]. Одна из них особенно известна по всей России, вот как она начинается:

Нова радость, во всем мире,
Ныне нам явися!

Кроме обедов, пирушек и бесед вечера посвящались играм и пенью подблюдных песен.

– Ты забываешь о других святочных увеселениях, – сказал суворовский, – я еще помню, как в Москве в это время бывали лошадиные беги, кулачные бои. Я помню, что покойный граф А. Г. О. был страшный охотник до всяких русских игр. Народу соберутся кучи: ура! стена на стену… о росский бодрственный народ! И тут, бывало, от шутки доходит до дела…

– В маленьких украинских городах кулачный бой занимает и теперь всех. Недавно проезжал я через Богодухов, некому было лошадей запрячь: все на кулачном бою; шум и крик, и целый город бьется!

– А согласитесь, – сказал хозяин, – кто сообразит все, что бывает у нас на Руси о Святках, тот хорошо поймет дух русского народа, веселого, доброго, славного! О Святках раздолье русскому духу!

[8] *Рацея* – длинное назидательное рассуждение.

– И духам, – примолвил, засмеявшись, Шумилов, – вы знаете, что до самого Крещенья мертвецы, духи, колдуны, ведьмы свободно разгуливают и проказят. У них есть привилегированные дни.

– То есть ты хочешь сказать, что их вовсе нет? – спросил Терновский.

– Разумеется! Думаю, что из всех нас никто не поверит, если ты скажешь, что даже сам видел духов.

– Любезный, – отвечал Терновский, – я верю духам, только по-своему.

– Расскажи, пожалуй, как же это! – закричали все.

– Согласитесь со мной, друзья мои, – сказал Терновский важным голосом, – что в природе много еще есть тайного и не открытого нами. Я никак не ограничиваю человеческие чувства только известными чувствами, которыми равно обладают и обезьяны, и звери. Если у нас есть что-нибудь для вмещения того, что мы называем умом, то оно должно и являться в некоторых открытых явлениях.

– Следственно? – спросил Шумилов.

– Следственно, все то, что кажется нам непонятным, не может быть отвергаемо, а должно приписывать этому тайному или этим тайным чувствам и расположениям. То есть, что я отношу к этому, есть симпатия, второе – антипатия, третье…

– Полно мечтать, мой друг! С твоими предположениями можно все привести к естественным следствиям.

– Когда можно, почему ж не должно?

– Потому не должно, – сказал Шумилов, – что все твои естественные следствия в этом случае почти всегда сказки, перевранные, измененные, плоды расстроенного воображения.

– Часто, но не всегда: я приведу тебе множество доказательств, которых без моих предположений никак не изъяснить. Например: физиогномия, знание, врожденное человеку, хотя его и отвергают, ничем не опровергаемо. Не всякий ли из нас чувствует симпатическое стремление к одному и антипатическое отвращение от другого человека?

– Вздор! Это просто какое-то сходство сложений человеческих, более или менее близких или далеких тому или другому человеку.

– Стало, ты признаешь некоторую общность в человечестве? А предчувствия, сны, видения самого себя: это дела, не подверженные сомнению. Горные шотландцы имеют особенное свойство двойного зрения, потому что чувства их утонченнее наших: они знают, что в такое-то время их посетит незнакомец, видят его и опишут вам наперед, каков он собою.

– А если это тонкий обман? – сказал суворовский сослуживец.

– Ты рубишь с плеча, по-суворовски! – отвечал, смеясь, Терновский. – Если я тебе приведу множество примеров людей, которые, не думая обманывать, видели необыкновенные явления. Знаешь ли, что Наполеон всегда видел на небе светлую звезду?

– А если эта блестящая звезда была одна комедия, игранная Наполеоном лет десяток: что ты скажешь на это? Разве у Нумы Помпилия не было нимфы Эгерии[9], у Сертория[10] не было приученного оленя, у Магомета ручного голубя?

– Сказки! – сказал Шумилов.

– Я так думаю, что не совсем сказки. Положим, что многие из умных людей употребляли хитрости с простым народом; но если видим разницу в зрении, слухе, осязании, обонянии людей, почему не предположить дальнейших границ даже самым этим чувствам? Я знаю в Москве одного правдивого человека, который твердо уверен, что, пока не явится ему друг его, с которым условились они видеться в час смерти, он не умрет.

---

[9] *Эгерия* – в древнеримской мифологии нимфа-прорицательница, жена римского царя Нумы Помпилия, его советница в делах организации религиозной жизни в Древнем Риме и его учительница в законотворческой деятельности.

[10] *Квинт Серторий* (ок. 122-72 до н. э.) – римский политический деятель и военачальник.

– Вот в этом-то твердом уверении, кажется, и вся тайна, – сказал Шумилов. – От нее произошли все приметы, причуды, вера в сны, предчувствия. Можно приучить свои телесные чувства, можно приучить и душевные способности ко многому. Я знал одного человека, замечательного, необыкновенного. Это был наш славный мореплаватель Шелихов[11]. Вы о нем слыхали. Он твердо верил снам, предчувствиям, приметам. Вот что рассказал мне один близкий его знакомец. Как теперь вижу, говорил он мне, когда мы ехали в Охотск вместе, не доезжая верст за сто, Шелихов сделался задумчив, беспокоен и важно сказал мне: «Приехав в Охотск, мы найдем судно, пришедшее из Америки». Я удивился, стал спорить и вывел его из терпения: он был горячего, пылкого характера и с сердцем сказал мне: «Так знай же, что едва выедем мы на Охотскую кошку, как судно будет в виду у нас (кошкой называют там длинную песчаную косу, на которой стоит Охотск). Судно это мое и с богатым грузом!» Едем спокойно, и только что мы приближились к песчаной Охотской кошке, в море показалось судно. Оно точно принадлежало Шелихову и было с богатым грузом. Что этот анекдот достоверен, ручаюсь вам; что Шелихов не мог знать о прибытии судна никаким образом, вы согласитесь сами. Надобно вам знать, что Шелихов был необыкновенный человек, с обширным умом, и что ж? Он верил физиогномии, приметам и в жизнь свою никогда не знал неудач. Он изумлял своею обдуманностью, проницательностью и из бедного рыльского мещанина под конец жизни, весьма недолгой, нажил миллионы. Самое предприятие его: плыть в неизвестную тогда Америку на ветхом суденышке, без снарядов, без припасов и по звездам правя путь – доказывает его решительность на надежду на свое счастье, и я вывожу, что…

– Из этого я вывожу, – сказал поспешно Терновский, – что у людей необыкновенных душевная и телесная сила более нашей и они одарены тем, чего мы не имеем и, следовательно, постигнуть не можем.

– Хорошо, – отвечал Шумилов, – но пусть будут у них силы, нам не известные. Они сами в отношении к природе под одинаковыми законами, как и все мы.

– Нет! Тайная сила их в сильнейших отношениях к природе. И вот что называли прежде духами, привидениями: это наши тайные отношения, не понятные другим. Прежде все олицетворяли. Сократ свою тайную силу называл гением и откровенно признавался, что у него есть тайный гений, который руководствует и часто противоречит ему самому.

– Ты мечтатель! – сказал Шумилов. – И должен вспомнить, что воображение может действовать и обманывать нас удивительным образом. Человек в горячке чего не видит, чего не наскажет вам, но все слова – его мечты, обольщение чувств, в которых льется огонь горячки. Далее: должно поверять известия. Люди так любят все чудесное, так любят прибавлять, что на их рассказы полагаться невозможно. Прибавь обманы, ловкость, хитрости. Я даже за Сократова гения не поручусь. Может быть, это была его хитрость. Посмотри на чревовещателя, фокусника, обморачивателя: если бы мы не знали, что они все делают естественным образом, как не почесть их волшебниками? В глазах других, человек снимает с себя голову, бреет ее и опять надевает по-прежнему; вода рвется в комнату, затопляет пол, все пугаются, кричат, и все это оптическая, химическая шалость.

– Но отчего же эта всеобщая уверенность, что в природе есть много тайного, непонятного?

– Разумеется, что есть, да это тайное, непонятное не то, что ты думаешь. Иначе надобно верить, что лешие ходят по полям и заводят людей в болоты, русалки хохочут в реках, а ведьмы ездят на помелах и спускаются в трубы.

– Это вздор!

– Почему вздор? Этому так же верят миллионы людей, как ты веришь своему тайному чувству и сношениям с природою. Историю о мертвеце, который увез девушку, свою невесту,

[11] *Шелихов Григорий Иванович* (1747–1795) – русский исследователь Сибири.

рассказывают в Англии, в России, в Польше; шабаши ведьм в Брокене[12] и в Киеве – одинаковое поверье в России и в немецкой земле.

– А что ни говорите, но я люблю рассказы о ведьмах, мертвецах, колдунах и привидениях и всегда с радостью слушаю страшные повести, – сказал хозяин.

– Я сам люблю их слушать и даже рассказывать, но не верю им нисколько, – сказал, улыбаясь, Шумилов.

Видно было, что оба они попали на своих коньков: одному хотелось слушать, а другому рассказывать.

– Да не знаешь ли ты какой-нибудь пострашнее? – сказал хозяин, повертываясь от удовольствия.

– Как не знать! Я изъездил матушку Русь, не из семи печей хлеб едал, и, коли хотите, попотчеваю вас русскими былями, которые так же страшны, как немецкие. Слушайте.

– Начни же, как начинают русские сказки: «В некотором царстве, в некотором государстве, за тридевять земель, в тридесятом царстве, на ровном месте, как на скатерти…»

– Да ведь я расскажу вам быль, – отвечал Шумилов.

– А Терновский изъяснит нам естественные ее действия, – прибавил хозяин, весело взглянув на соседа.

Все замолчали, и Шумилов начал.

1826

[12] Легенды повествуют о шабашах ведьм в Вальпургиеву ночь на горе Брокен в Германии.

Евгений Баратынский (*1800–1844*) Перстень

В деревушке, состоящей не более как из десяти дворов (не нужно знать, какой губернии и уезда), некогда жил небогатый дворянин Дубровин. Умеренностью, хозяйством он заменял в быту своем недостаток роскоши. Сводил расходы с приходами, любил жену и ежегодно умножающееся семейство, словом, был счастлив; но судьба позавидовала его счастью. Пошли неурожаи за неурожаями. Не получая почти никакого дохода и почитая долгом помогать своим крестьянам, он вошел в большие долги. Часть его деревушки была заложена одному скупому помещику, другую оттягивал у него беспокойный сосед, известный ябедник. Скупому не был он в состоянии заплатить своего долга; против дельца не мог поддержать своего права, конечно, бесспорного, но скудного наличными доказательствами. Заимодавец протестовал вексель, ситель с жаром преследовал дело, и бедному Дубровину приходило до зареза.

Всего нужнее было заплатить долг; но где найти деньги? Не питая никакой надежды, Дубровин решился, однако ж, испытать все способы к спасению. Он бросился по соседям, просил, умолял; но везде слышал тот же учтивый, а иногда и неучтивый отказ. Он возвратился домой с раздавленным сердцем.

Утопающий хватается за соломинку. Несмотря на свое отчаяние, Дубровин вспомнил, что между соседями не посетил одного, правда, ему незнакомого, но весьма богатого помещика. Он у него не был, и тому причиною было не одно незнакомство. Опальский (помещик, о котором идет дело) был человек отменно странный. Имея около полутора тысяч душ, огромный дом, великолепный сад, имея доступ ко всем наслаждениям жизни, он ничем не пользовался. Пятнадцать лет тому назад он приехал в свое поместье, но не заглянул в свой богатый дом, не прошел по своему прекрасному саду, ни о чем не расспрашивал своего управителя. Вдали от всякого жилья, среди обширного дикого леса, он поселился в хижине, построенной для лесного сторожа. Управитель, без его приказания и почти насильно, пристроил к ней две комнаты, которые с третьею, прежде существовавшею, составили его жилище. В соседстве были о нем разные толки и слухи. Многие приписывали уединенную жизнь его скупости. В самом деле, Опальский не проживал и тридцатой части своего годового дохода, питался самою грубою пищею и пил одну воду; но в то же время он вовсе не занимался хозяйством, никогда не являлся на деревенские работы, никогда не поверял своего управителя, к счастию, отменно честного человека. Другие довольно остроумно заключили, что, отличаясь образом жизни, он отличается и образом мыслей, и подозревали его дерзким философом, вольнодумным естествоиспытателем, тем более что, по слухам, не занимаясь лечением, он то и дело варил неведомые травы и коренья, что в доме его было два скелета и страшный желтый череп лежал на его столе. Мнению их противоречила его набожность: Опальский не пропускал ни одной церковной службы и молился с особенным благоговением. Некоторые люди, и в том числе Дубровин, думали, однако ж, что какая-нибудь горестная утрата, а может быть, и угрызения совести были причиною странной жизни Опальского.

Как бы то ни было, Дубровин решился к нему ехать. «Прощай, Саша! – сказал он со вздохом жене своей. – Еще раз попробую счастья». Обнял ее и сел в телегу, запряженную тройкою.

Поместье Опальского было верстах в пятнадцати от деревушки Дубровина; часа через полтора он уже ехал лесом, в котором жил Опальский. Дорога была узкая и усеяна кочками и пнями. Во многих местах не проходила его тройка, и Дубровин был принужден отпрягать

лошадей. Вообще нельзя было ехать иначе как шагом. Наконец он увидел отшельническую обитель Опальского.

Дубровин вошел. В первой комнате не было никого. Он окинул ее глазами и удостоверился, что слухи о странном помещике частью были справедливы. В углах стояли известные скелеты, стены были обвешаны пуками сушеных трав и кореньев, на окнах стояли бутыли и банки с разными настоями. Некому было о нем доложить: он решился войти в другую комнату, отворил двери и увидел пожилого человека в изношенном халате, сидящего к нему задом и глубоко занятого каким-то математическим вычислением.

Дубровин догадался, что это был сам хозяин. Молча стоял он у дверей, ожидая, чтобы Опальский кончил или оставил свою работу; но время проходило, Опальский не прерывал ее. Дубровин нарочно закашлял, но кашель его не был примечен. Он шаркал ногами, Опальский не слышал его шарканья. Бедность застенчива. Дубровин находился в самом тяжелом положении. Он думал, думал и, ни на что не решаясь, вертел на руке своей перстень; наконец уронил его, хотел подхватить на лету, но только подбил, и перстень, перелетев через голову Опальского, упал на стол перед самым его носом.

Опальский вздрогнул и вскочил с своих кресел. Он глядел то на перстень, то на Дубровина и не говорил ни слова. Он взял со стола перстень, с судорожным движением прижал его к своей груди, остановив на Дубровине взор, выражавший попеременно торжество и опасение. Дубровин глядел на него с замешательством и любопытством. Он был высокого роста; редкие волосы покрывали его голову, коей обнаженное темя лоснилось; живой румянец покрывал его щеки; он в одно и то же время казался моложав и старообразен. Прошло еще несколько мгновений. Опальский опустил голову и казался погруженным в размышление; наконец сложил руки, поднял глаза к небу; лицо его выразило глубокое смирение, беспредельную покорность. «Господи, да будет воля Твоя! – сказал он. – Это ваш перстень, – продолжал Опальский, обращаясь к Дубровину, – и я вам его возвращаю… Я мог бы не возвратить его… что прикажете?»

Дубровин не знал, что думать: но, собравшись с духом, объяснил ему свою нужду, прибавя, что в нем его единственная надежда.

«Вам надобно десять тысяч, – сказал Опальский, – завтра же я вам их доставлю. Что вы еще требуете?»

«Помилуйте, – вскричал восхищенный Дубровин, – что я могу еще требовать? Вы возвращаете мне жизнь неожиданным вашим благодеянием. Как мало людей, вам подобных! Жена, дети опять с хлебом; я, она до гробовой доски будем помнить…»

«Вы ничем мне не обязаны, – прервал Опальский. – Я не могу отказать вам ни в какой просьбе. Этот перстень… (тут лицо его снова омрачилось) этот перстень дает вам беспредельную власть надо мною… Давно не видал я этого перстня… Он был моим… но что до этого? Ежели я вам более не нужен, позвольте мне докончить мою работу: завтра я к вашим услугам».

Едучи домой, Дубровин был в неописанном волненьи. Неожиданная удача, удача, спасающая его от неизбежной гибели, конечно, его радовала, но некоторые слова Опальского смутили его сердце. «Что это за перстень? – думал он. – Некогда принадлежал он Опальскому; мне подарила его жена моя. Какие сношения были между нею и моим благодетелем? Она его знает! Зачем же всегда таила от меня это знакомство? Когда она с ним познакомилась?» Чем он более думал, тем он становился беспокойнее; все казалось странным и загадочным Дубровину.

«Опять отказ? – сказала бедная Александра Павловна, видя мужа своего, входящего с лицом озабоченным и пасмурным. – Боже! Что с нами будет!» Но, не желая умножить его горести, «утешься, – прибавила она голосом более мирным, – Бог милостив, может быть, мы получим помощь, откуда не чаем».

«Мы счастливее, нежели ты думаешь, – сказал Дубровин. – Опальский дает десять тысяч… Все слава Богу».

«Слава Богу? Отчего же ты так печален?»

«Так, ничего… Ты знаешь этого Опальского?»

«Знаю, как ты, по слухам… но ради Бога…»

«По слухам… только по слухам. Скажи, как достался тебе этот перстень?»

«Что за вопросы! Мне подарила его моя приятельница Анна Петровна Кузмина, которую ты знаешь: что тут удивительного?»

Лицо Александры Павловны было так спокойно, голос так свободен, что все недоумения Дубровина исчезли. Он рассказал жене своей все подробности своего свидания с Опальским, признался в невольной тревоге, наполнившей его душу, и Александра Павловна, посердясь немного, с ним помирилась. Между тем она сгорала любопытством. «Непременно напишу к Анне Петровне, – сказала она. – Какая скрытная! Никогда не говорила мне об Опальском. Теперь поневоле признается, видя, что мы знаем уже половину тайны».

На другой день, рано поутру, Опальский сам явился к Дубровину, вручил ему обещанные десять тысяч и на все выражения его благодарности отвечал вопросом: «Что еще прикажете?» С этих пор Опальский каждое утро приезжал к Дубровину, и «что прикажете» было всегда его первым словом. Благодарный Дубровин не знал, как отвечать ему, наконец привык к этой странности и не обращал на нее внимания. Однако ж он имел многие случаи удостовериться, что вопрос этот не был одною пустою поговоркою. Дубровин рассказал ему о своем деле, и на другой же день явился к нему стряпчий и подробно осведомился о его тяжбе, сказав, что Опальский велел ему хлопотать о ней. В самом деле, она в скором времени была решена в пользу Дубровина.

Дубровин прогуливался однажды с женою и Опальским по небольшому своему поместью. Они остановились у рощи над рекою, и вид на деревни, по ней рассыпанные, на зеленый луг, расстилающийся перед нею на необъятное пространство, был прекрасен. «Здесь бы, по-настоящему, должно было построить дом, – сказал Дубровин, – я часто об этом думаю. Хоромы мои плохи, кровля течет, надо строить новые, и где же лучше?» На другое утро крестьяне Опальского начали свозить лес на место, избранное Дубровиным, и вскоре поднялся красивый, светлый домик, в который Дубровин перешел с своим семейством.

Не буду рассказывать, по какому именно поводу Опальский помог ему развести сад, запастись тем и другим: дело в том, что каждое желание Дубровина было тот же час исполнено. Опальский был как свой у Дубровиных и казался им весьма умным и ученым человеком. Он очень любил хозяина, но иногда выражал это чувство довольно странным образом. Например, сжимая руку облагодетельствованному им Дубровину, он говорил ему с умилением, от которого навертывались на глаза его слезы: «Благодарю вас, вы ко мне очень снисходительны!»

Анна Петровна отвечала на письмо Александры Павловны. Она не понимала ее намеков, уверяла, что и во сне не видывала никакого Опальского, что перстень был подарен ей одною из ее знакомок, которой принес его дворовый мальчик, нашедший его на дороге. Таким образом, любопытство Дубровиных осталось неудовлетворенным.

Дубровин расспрашивал об Опальском в его поместье. Никому не было известно, где и как он провел свою молодость; знали только, что он родился в Петербурге, был в военной службе, наконец, лишившись отца и матери, прибыл в свои поместья. Единственный крепостной служитель, находившийся при нем, скоропостижно умер дорогою, а наемный слуга, с ним приехавший и которого он тотчас отпустил, ничего об нем не ведал.

Народные слухи были занимательнее. Покойный приходский дьячок рассказывал жене своей, что однажды, исповедуясь в алтаре, Опальский говорил так громко, что каждое слово до него доходило. Опальский каялся в ужасных преступлениях, в чернокнижестве; признавался, что ему от роду 450 лет, что долгая эта жизнь дана ему в наказание, и неизвестно, когда придет минута его успокоения. Многие другие были россказни, одни других замысловатее и нелепее; но ничто не объясняло таинственного перстня.

Беспрестанно навещаемый Опальским, Дубровин почитал обязанностью навещать его по возможности столь же часто. Однажды, не застав его дома (Опальский собирал травы в окрестности), он стал перебирать лежащие на столе его бумаги. Одна рукопись привлекла его внимание. Она содержала в себе следующую повесть:

«Антонио родился в Испании. Родители его были люди знатные и богатые. Он был воспитан в гордости и роскоши; жизнь могла для него быть одним долгим праздником… Две страсти – любопытство и любовь – довели его до погибели.

Несмотря на набожность, в которой его воспитывали, на ужас, внушаемый инквизицией (это было при Филиппе II), рано предался он преступным изысканиям: тайно беседовал с учеными жидами, рылся в кабалистических книгах долго, безуспешно; наконец край завесы начал перед ним приподыматься.

Тут увидел он в первый раз донну Марию, прелестную Марию, и позабыл свои гадания, чтобы покориться очарованию ее взоров. Она заметила любовь его и сначала казалась благосклонною, но мало-помалу стала холоднее и холоднее. Антонио был в отчаянии, и оно дошло до исступления, когда он уверился, что другой, а именно дон Педро де ла Савина, владел ее сердцем. С бешенством упрекал он Марию в ее перемене. Она отвечала одними шутками; он удалился, но не оставил надежды обладать ею.

Он снова принялся за свои изыскания, испытывал все порядки магических слов, испытывал все чертежи волшебные, приобщал к показаниям ученых собственные свои догадки, и упрямство его наконец увенчалось несчастным успехом. Однажды вечером, один в своем покое, он испытывал новую магическую фигуру. Работа приходила к концу; он провел уже последнюю линию: напрасно!.. Фигура была недействительна. Сердце его кипело досадою. С горькою внутреннею усмешкою он увенчал фигуру свою бессмысленным своенравным знаком. Этого знака недоставало… Покой его наполнился странным жалобным свистом. Антонио поднял глаза… Легкий прозрачный дух стоял перед ним, вперив на него тусклые, но пронзительные свои очи.

„Чего ты хочешь?“ – сказал он ему голосом тихим и тонким, но от которого кровь застыла в его сердце и волосы стали у него дыбом. Антонио колебался, но Мария предстала ему со всеми своими прелестями, с лицом приветливым, с глазами, полными любовию… Он призвал всю свою смелость. „Хочу быть любим Мариею“, – отвечал он голосом твердым. „Можешь, но с условием“.

Антонио задумался. „Согласен, – сказал он наконец, – но для меня этого мало. Хочу любви Марии, но хочу власти и знания: тайна природы будет мне открыта?“ – „Будет, – отвечал дух. – Следуй за своею тенью“. Дух исчез. Антонио встал. Тень его чернела у дверей. Двери отворились: тень пошла, Антонио за нею.

Антонио шел, как безумный, повинуясь безмолвной своей путеводительнице. Она привела его в глубокую уединенную долину и внезапно слилась с ее мраком. Все было тихо, ничто не шевелилось… Наконец земля под ним вздрогнула… Яркие огни стали вылетать из нее одни за другими; вскоре наполнился ими воздух; они метались около Антонио, метались миллионами, но свет их не разогнал тьмы, его окружающей. Вдруг пришли они в порядок и

бесчисленными правильными рядами окружили его на воздухе. „Готов ли ты?“ – вопросил его голос, выходящий из-под земли. „Готов“, – отвечал Антонио.

Огненная купель пред ним возникла. За нею поднялся безобразный бес в жреческом одеянии. По правую свою руку он увидел огромную ведьму, по левую – такого же демона. Как описать ужасный обряд, совершенный над Антонио, эту уродливую насмешку над священнейшим из обрядов! Ведьма и демон занимали место кумы и кума, отрекаясь за неофита Антонио от Бога, добра и спасения; адский хохот раздавался по временам вместо пения; страшны были знакомые слова спасения, превращенные в заклятия гибели. Голова кружилась у Антонио; наконец прежний свист раздался; все исчезло. Антонио упал в обморок, утро возвратило ему память, он взглянул на Божий мир – глазами демона: так он постигнул тайну природы, ужасную, бесполезную тайну; он чувствовал, что все ему ведомо и подвластно, и это чувство было адским мучением. Он старался заглушить его, думая о Марии.

Он увидел Марию. Глаза ее обращались к нему с любовию; шли дни, и скорый брак должен был их соединить навеки.

Лаская Марию, Антонио не оставлял свои каббалистические занятия; он трудился над составлением талисмана, которым хотел укрепить свое владычество над жизнью и природой: он хотел поделиться с Марией выгодами, за которые заплатил душевным спасением, и вылил этот перстень, впоследствии послуживший ему наказанием, быть может легким в сравнении с его преступлениями.

Антонио подарил его Марии; он ей открыл тайную его силу. „Отныне нахожусь я в совершенном твоем подданстве, – сказал он ей. – Как все земное, я сам подвластен этому перстню; не употребляй во зло моей доверенности; люби, о люби меня, моя Мария“.

Напрасно. На другой же день он нашел ее сидящею рядом с его соперником. На руке его был магический перстень. „Что, проклятый чернокнижник, – закричал дон Педро, увидя входящего Антонио, – ты хотел разлучить меня с Марией, но попал в собственные сети. Вон отсюда! Жди меня в передней!“

Антонио должен был повиноваться. Каким унижениям подвергнул его дон Педро! Он исполнял у него самые тяжелые, рабские службы.

Мария стала супругою его повелителя. Одно горестное утешение оставалось Антонио: видеть Марию, которую любил, несмотря на ужасную ее измену. Дон Педро это заметил. „Ты слишком заглядываешься на жену мою, – сказал он. – Присутствие твое мне надоело: я тебя отпускаю“. Удаляясь, Антонио остановился у порога, чтобы еще раз взглянуть на Марию. „Ты еще здесь? – закричал дон Педро. – Ступай, ступай, не останавливайся!“

Роковые слова! Антонио пошел, но не мог уже остановиться; двадцать раз в продолжение ста пятидесяти лет обошел он землю. Грудь его давила усталость; голод грыз его внутренность. Антонио призывал смерть, но она была глуха к его молениям; Антонио не умирал, и ноги его все шагали. „Постой!“ – закричал ему наконец какой-то голос. Антонио остановился, к нему подошел молодой путешественник. „Куда ведет эта дорога?“ – спросил он его, указывая направо рукой, на которой Антонио увидел свой перстень. „Туда-то…“ – отвечал Антонио. „Благодарю“, – сказал учтиво путешественник и оставил его. Антонио отдыхал от полуторавекового похода, но скоро заметил, что положение его не было лучше прежнего: он не мог ступить с места, на котором

> остановился. Вяла трава, обнажались деревья, стыли воды, зимние снега падали на его голову, морозы сжимали воздух, – Антонио стоял неподвижно. Природа оживлялась, у ног его таял снег, цвели луга, жаркое солнце палило его темя… Он стоял, мучился адскою жаждою, и смерть не прерывала его мучения. Пятьдесят лет провел он таким образом. Случай освобождал его от одной казни, чтобы подвергнуть другой, тягчайшей. Наконец…»

Здесь прерывалась рукопись. Всего страннее было сходство некоторых ее подробностей с народными слухами об Опальском. Дубровин нисколько не верил колдовству. Он терялся в догадках. «Как я глуп, – подумал он напоследок. – Это перевод какой-нибудь из этих модных повестей, в которых чепуху выдают за гениальное своенравие».

Он остался при этой мысли; прошло несколько месяцев. Наконец Опальский, являвшийся ежедневно к Дубровину, не приехал в обыкновенное свое время. Дубровин послал его проведать. Опальский был очень болен.

Дубровин готовился ехать к своему благодетелю, но в ту же минуту остановилась у крыльца его повозка.

«Марья Петровна, вы ли это? – вскричала Александра Павловна, обнимая вошедшую, довольно пожилую женщину. – Какими судьбами?»

«Еду в Москву, моя милая, и, хотя ты 70 верст в стороне, заехала с тобой повидаться. Вот тебе дочь моя, Дашенька, – прибавила она, указывая на пригожую девицу, вошедшую вместе с нею. – Не узнаешь? Ты оставила ее почти ребенком. Здравствуйте, Владимир Иванович, привел Бог еще раз увидеться!»

Марья Петровна была давняя дорогая приятельница Дубровиных. Хозяева и гости сели. Стали вспоминать старину; мало-помалу дошли и до настоящего. «Какой у вас прекрасный дом, – сказала Марья Петровна, – вы живете господами». – «Слава Богу! – отвечала Александра Павловна. – А чуть было не пошли по миру. Спасибо этому доброму Опальскому». – «И моему перстню», – прибавил Владимир Иванович. «Какому Опальскому? Какому перстню? – вскричала Марья Петровна. – Я знала одного Опальского; помню и перстень… Да нельзя ли мне его видеть?»

Дубровин подал ей перстень. «Тот самый, – продолжала Марья Петровна. – Перстень этот мой, я потеряла его тому назад лет восемь… О, этот перстень напоминает мне много проказ! Да что за чудеса были с вами?» Дубровин глядел на нее с удивлением, но передал ей свою повесть в том виде, в каком мы представляем ее нашим читателям. Марья Петровна помирала со смеху.

Все объяснилось. Марья Петровна была донна Мария, а сам Опальский, превращенный из Антона в Антонио, страдальцем таинственной повести. Вот как было дело: полк, в котором служил Опальский, стоял некогда в их околотке. Марья Петровна была в то время молодой прекрасной девицей. Опальский, который тогда уже был несколько слаб головою, увидел ее в первый раз на Святках одетою испанкой, влюбился в нее и даже начинал ей нравиться, когда она заметила, что мысли его были не совершенно здравы: разговор о таинствах природы, сочинения Эккартсгаузена навели Опальского на предмет его помешательства, которого до той поры не подозревали самые его товарищи. Это открытие было для него пагубно. Всеобщие шутки развили несчастную наклонность его воображения; но он совершенно лишился ума, когда заметил, что Марья Петровна благосклонно слушает одного из его сослуживцев, Петра Ивановича Савина (дон Педро де ла Савина), за которого она потом и вышла замуж. Он решительно предался магии. Офицеры и некоторые из соседственных дворян выдумали непростительную шутку, описанную в рукописи: дворовый мальчик явился духом, Опальский до известного места в самом деле следовал за своею тенью. На это употребили очень простой способ: сзади его несли фонарь. Марья Петровна в то время была довольно ветрена и рада случаю посмеяться. Она согласилась притвориться в него влюбленною. Он подарил ей свой

таинственный перстень; посредством его разным образом издевались над бедным чародеем: то посылали его верст за двадцать пешком с каким-нибудь поручением, то заставляли простоять целый день на морозе; всего рассказывать не нужно: читатель догадается, как он пересоздал все эти случаи своим воображением и как тяжелые минуты казались ему годами. Наконец Марья Петровна над ним сжалилась, приказала ему выйти в отставку, ехать в деревню и в ней жить как можно уединеннее.

«Возьмите же ваш перстень, – сказал Дубровин, – с чужого коня и среди грязи долой». – «И, батюшка, что мне в нем?» – отвечала Марья Петровна. «Не шутите им, – прервала Александра Павловна, – он принес нам много счастья: может быть, и с вами будет то же». – «Я колдовству не верю, моя милая, а ежели уже на то пошло, отдайте его Дашеньке: ее беде одно чудо поможет».

Дубровины знали, в чем было дело: Дашенька была влюблена в одного молодого человека, тоже страстно в нее влюбленного, но Дашенька была небогатая дворяночка, а родные его не хотели слышать об этой свадьбе; оба равно тосковали, а делать было нечего.

Тут прискакал посланный от Опальского и сказал Дубровину, что его барин желает как можно скорее его видеть. «Каков Антон Исаич?» – спросил Дубровин. «Слава Богу, – отвечал слуга, – вчера вечером и даже сегодня утром было очень дурно, но теперь он здоров и спокоен».

Дубровин оставил своих гостей и поехал к Опальскому. Он нашел его лежащего в постели. Лицо его выражало страдание, но взор был ясен. Он с чувством пожал руку Дубровина.

«Любезный Дубровин, – сказал он ему, – кончина моя приближается: мне предвещает ее внезапная ясность моих мыслей. От какого ужасного сна я проснулся!.. Вы, верно, заметили расстройство моего воображения… Благодарю вас: вы не употребили его во зло, как другие, – вы утешили вашею дружбою бедного безумца!..»

Он остановился, и заметно было, что долгая речь его утомила. «Преступления мои велики, – продолжал он после долгого молчания. – Так! Хотя воображение мое было расстроено, я ведал, что я делаю: я знаю, что я продал вечное блаженство за временное… Но и мечтательные страдания мои были велики! Их возложит на весы свои Бог милосердый и праведный».

Вошел священник, за которым было послано в то же время, как и за Дубровиным. Дубровин оставил его наедине с Опальским.

«Он скончался, – сказал священник, выходя из комнаты, – но успел совершить обязанность христианина. Господи, приими дух его с миром!»

Опальский умер. По истечении законного срока пересмотрели его бумаги и нашли завещание. Не имея наследников, он отдал имение свое Дубровину, то называя его по имени, то означая его владетелем такого-то перстня; словом, завещание было написано таким образом, что Дубровин и владетель перстня могли иметь бесконечную тяжбу.

Дубровины и Дашенька, тогдашняя владетельница перстня, между собою не ссорились и разделили поровну неожиданное богатство. Дашенька вышла замуж по выбору сердца и поселилась в соседстве Дубровиных. Оба семейства не забывают Опальского, ежегодно совершают по нем панихиду и молят Бога помиловать душу их благодетеля.

1831

В. Дмитриев
(*?-?*)
Маскарад

Темная декабрьская ночь покрыла шумный Петербург своим мраком, ветер свистел, и метель застилала дорогу запоздавшему пешеходу. В доме графа Вельского раздавались громкие звуки бальной музыки, окна блистали ярким светом ламп, и тени прелестных дам мелькали в них, подобно легким облакам, несущимся стремительно по лазуревому небу. Множество экипажей стояло у дома. Кучера насвистывали любимые свои песни или дремали на неловких козлах, кряхтя и закрываясь, сколько возможно, от нападений метели. В швейцарской горели светлые фонари, и лакеи, держа в руках пушистые салопы и теплые сюртуки, рассказывали друг другу свои похождения и читали панегирики своим господам.

Раздался скрып колес по скользкому снегу – у подъезда остановилась карета хлопнули дверцы и стройный мужчина с покрытым снегом лакеем явился в швейцарской. Соболья шинель сброшена, и богатое испанское платье привлекает внимание проницательных обитателей прихожих. «Давно ли начался бал?» – спросила маска. «Около получаса», – ответил толстый швейцар. «Поправь мне мантию». Швейцар с почтением оправил малиновую бархатную, обшитую золотом мантию; гость надел испанскую шляпу с прекрасными белыми перьями и побежал вверх по лестнице. «Кто этот господин?» – спрашивали друг друга слуги. «Это Лидин, – отвечал швейцар, – он всегда щеголяет своим убором на наших балах». – «Что ему делается, – подхватил слуга Лидина, – с двумя тысячами душ можно щеголять. Нечего сказать, дай Бог ему здоровье, нужды нет, что богат, а добрый барин». – «Мы думали, – прервал швейцар, – что он женится на нашей барышне; да что-то…» – «Какая несносная погода!» – раздался из кареты голос. Швейцар отворил дверь – и пожилой мужчина ввел за руку молодую красавицу. Двое высоких лакеев суетились около господ. Мужчина одет был в черное домино, а прелестная его спутница в богатое русское платье. Она подала руку своему кавалеру – и вошла с ним в зал.

Множество масок наполняло комнаты; блеск огней падал на бриллианты дам, горел в них разными цветами и оттенял лилейную грудь, к которой они прижимались. Танцевали французскую кадриль. Лидин стоял с молодою графинею Вельскою. Белое платье, украшенное гирляндою роз, на груди букет цветов и соломенная шляпка, обвитая незабудками, возвышали красоту молодой хозяйки. Черные ее кудри небрежно рассыпались по мраморным плечам, румянец горел на щеках, а быстрые черные глаза то приветствовали входящих в зал гостей, то обращались на Лидина, то вдруг робко устремлялись на узорчатый паркет. Черное домино входит с своею парою; Лидин нечаянно взглядывает, приходит в замешательство – не помнит фигуры, кадриль запутывается – и принуждены были бы кончить, если б услужливые товарищи не вывели Лидина из хлопот: начали новую фигуру. К счастью, смятения его не заметили, и он, окончив кадриль, сел подле прелестной незнакомки.

Голубой бархатный с серебряными бахромами сарафан сжимал гибкий стан ее; богатая повязка украшала ее голову; русая коса ее, заплетенная руками Граций, в красивых изгибах своих сливалась с белою лентою; легкие, флеровые рукава едва скрывали прелестные округлости белых рук, на которых горели сафирные браслеты; крупное жемчужное ожерелье спорило о белизне с невинною грудью красавицы, а прозрачная дымка, застегнутая алмазною запонкою, подымалась при каждом вздохе. Что-то милое, что-то неземное горело в голубых глазах незнакомки; какая-то непостижимая прелесть окружала ее; казалось, что воздух, напоенный ее движением, разливал запах весенних лилий; каждое движение ее рождало тьму новых очарований, и в каждой складке ее одежды скрывался рой наслаждений. Увидев Лидина, она сме-

шалась – розы вспыхнули на щеках ее. «Позвольте, сударыня, просить вас на вальс», – сказал Лидин трепещущим голосом молодой красавице; она потупила глаза, подала руку, и вот – они кружатся, едва касаясь блестящего паркета; рука незнакомки покоится на плече счастливого Лидина; он обнимает эфирный стан ее, он близко к ее сердцу: ах, сердце его сильно, сильно бьется. Он хочет говорить, но речь замирает на устах его. Вальс кончился – и Лидин погружен в задумчивость. Тысячи мыслей волнуют душу его; ему надобно было много сказать; он проклинает свою застенчивость, проклинает себя, проклинает бал… Но вот раздался гром котильона[13]; весь зал приходит в движение: мужчины порхают между дам, подобно мотылькам в пышном цветнике востока; старики, оставя бостонные столы, теснятся у дверей зала; старушки чинно усаживаются впереди, чтобы взглянуть на милых внучек, чтобы вспомнить богатые балы семисотых годов, чтобы сказать со вздохом: «И я в старину не хуже вас танцевала менует а ля рень». Пестрый кружок уже составлен – и вот наш испанец стоит с прекрасною славянкой.

«Несравненный котильон! Зачем грозный приказ Эскулапа исключил меня из числа твоих членов! Зачем не могу я в длинных твоих междудействиях разгадывать с прелестною соседкою таинственные уставы мод, чувствий, прихотей, философии, обмороков и пр. Зачем не могу блистать журнальными эпиграммами или усыплять романтическими стихами томных голубых глаз, осененных длинными черными ресницами. Зачем не могу получить из беленькой ручки керового[14] короля или поймать счастливый узелок на батистовых платочках красавиц! Проклятая чахотка!» Но обратимся к Лидину, как он беседует с своею парой.

«Вы не отдали карты», – сказала незнакомка. «Она у меня, – отвечал Лидин. – Она должна напоминать мне счастливейший день моей жизни. Вы улыбаетесь; это не комплимент, сударыня. Около полугода уже прошло, как я имел счастье увидеть вас: не стану говорить, что произвел взор ваш, – скромность ваша для меня священна; но вам известно, что с того дня следовал я везде за вами, как тень; беспечность, спокойствие простились со мною – вы стали мне все – вы краснеете; простите моей откровенности – накажите дерзкого, но выслушайте его. Ежели чувства человека, который дышит одними вами, ежели тихая супружеская жизнь скажут что-нибудь в вашем сердце в мою пользу, отворите мне храм блаженства прелестною рукою вашею». – «Нам начинать», – сказала трепещущим голосом красавица, подала ему руку, и – Лидин у ног ее. Рой девиц, сплетшись руками, кружится около счастливца, подобно душистому венку Флоры; незнакомка скрывается между ними. Вдруг все рассыпалось, и Лидин летит, обвив дрожащею рукою голубой сарафан своей любезной.

За ужином сидел он подле графини Вельской, но глаза его, сердце, мысли стремились к русской красавице, и пламень взоров его часто встречался с искрами, которые при свете огней сыпались с алмазной запонки. Наконец кончился и этот счастливый вечер; начало рассветать, и полусонные, измученные, но довольные гости помчались в спокойных каретах по хрупкому снегу в молчаливую область Морфея.

Солнце было уже высоко, но в доме графа Вельского царствовала глубокая тишина. Все спало. В полусветлой спальне молодой графини лежал на столе пастушеский наряд – молчаливый свидетель вчерашних веселостей. В комнате графа лежала на полу недокуренная трубка и как бы говорила: «Он не мог докурить меня от усталости», а упавшая под стол книжка – Собрание стихотворений какого-то молодого поэта, – казалось, шептала: «Этот раз я его усыпила». Зазвенел колокольчик в дверях швейцарской; сонный швейцар, протирая глаза и удивляясь раннему визиту, отворил двери, и Лидин явился перед ним. «Послушай, друг мой, – сказал он с приметным смятением, – я имею до тебя надобность». Низкий поклон был ответом изумленного привратника. «Не можешь ли ты сказать мне, как зовут ту девицу, которая вчера была здесь на бале в голубом сарафане с мужчиною в черном домино». – «Позвольте… не та

[13] *Котильон* (*фр.* cotillon) – кадриль, фигуры которой перемежаются вальсом, полькой и другими танцами.

[14] *Керовый* (*фр.* coeur – сердце) – червовый.

ли?» – «Нельзя не приметить: она прелестна, как ангел». – «А! Это, сударь, девица Бильская: довольно, кавалер – ее отец, это я знаю». – «Где они живут?» – «В Морской, в доме NN». – «Вот тебе за известие, но я требую глубочайшего молчания». Он сунул кошелек в руку швейцару и бросился в карету.

Целый вечер задумчивый Лидин ходил скорыми шагами по комнате, десять раз подходил к бюро, начинал десять писем и потом бросил их в пылающий камин. Наконец велел подать карету, оделся и, когда человек вошел доложить, что карета готова, приказал ему снять с себя фрак, подать халат и отпрячь лошадей. Целую ночь не мог сомкнуть он глаз; будущность являлась ему то со всеми прелестями блаженства, то со всеми ужасами отчаяния; с вершины счастия, из нежных объятий обожаемой супруги, низвергался он в океан бедствий. Жить без нее!.. Нет – он трепетал от одной этой мысли. Сон сомкнул глаза его, и воздушный хоровод мечтаний вился над головою влюбленного.

На другой день, встревоженный, бледный, трепещущий, входит он в квартиру Бильского, не смеет перевести духа, не может решиться – наконец спрашивает и узнает, что Бильские вчера еще уехали в деревню. Это поразило его; но сердце начало биться тише: он задумался; но лицо его стало спокойнее. Какие непроницаемые, какие неописанные тайны чувств человеческих! Возвратясь домой, Лидин заперся в кабинете и написал роковое письмо к Бильскому. Надежда, страх водили его рукою. Он объяснял всю жестокость любви своей к дочери почтенного старца не в пышных выражениях, но языком души. Письмо его горело тем пламенем, который жег его сердце: часто слезы блистали на его ресницах, часто вскакивал он со стула, стоял неподвижно, подымал глаза к небу, тяжелый вздох вылетал из стесненной груди его, медленно проходил он к бюро и продолжал трепещущею рукою начатые строки. Письмо запечатано и отправлено.

Не стану говорить о положении Лидина в течение нескольких дней ожидания ответа: оно неизъяснимо; влюбленных понимают одни влюбленные. Спросите ваше сердце, и оно яркими красками опишет вам чувства моего героя. Наконец это роковое письмо получено. Долго не смел он его распечатать, сердце его билось, руки дрожали, он смотрел на пакет подобно умирающему, который смотрит на медика и в глазах его старается прочесть приговор свой. Но вот ужасный листок распечатан; глаза Лидина пожирают его, он не видит ничего, он ищет только тех слов, которыми решается его участь! О восторг! Несравненная, обожаемая им Бильская отдает ему руку. Отец приглашает его в деревню. Что может сравниться с его блаженством! Что может заменить эти минуты! Друзья мои! Я готов начать снова целый век страданий, если найду в нем одну такую минуту.

Солнце еще не осветило гордых вершин Петербурга, а уже по снежным буграм неслась быстрая тройка. Звон колокольчика спорил с громкими песнями ямщика, густые облака дыму вылетали из повозки, в которой сидел Лидин, закутавшись в медвежью шубу, с дорожною трубкою во рту. Очаровательные мечты, сладостные надежды теснились в душе его, радость сияла на его лице. После нескольких часов езды повозка остановилась у почтового двора. У ворот стояла бричка, из которой проворный слуга вынул дорожный погребец и побежал в комнату; между тем как станционный смотритель суетился с кучером около экипажа, Лидин с нетерпением требовал лошадей; а услужливый смотритель просил его войти обогреться, пока будут закладывать.

В комнате у кипящего чайника сидел молодой офицер и из большого стакана с большим аппетитом пил душистый чай. Денщик, стоя в углу, раскуривал трубку и хотел подать ее барину. Лидин входит в эту минуту. Офицер вскакивает со стула, бросается к Лидину, трубка падает, чай разливается, и Лидин сжимает в своих объятиях молодого воина. «Ты ли это, Ленский?» – «Лидин! Тебя ли я вижу?» – «Как ты возмужал!» – «Как ты переменился!» Вот все, что они могли сказать друг другу в первых порывах радости. «Что с тобою сделалось? – сказал Лидин. – Где прежний цвет твой? Ты так бледен». – «Ах! – отвечал со вздохом Ленский. – Куда

девались те счастливые минуты, когда, сидя на одной скамейке, поправляли мы наши французские переводы или подговаривали друг другу урок! Нет, друг мой, теперь не то: мрачная горесть гложет сердце прежнего твоего товарища. Я был наверху счастия – судьба лишает меня всего». – «Ради Бога, скажи, что такое, ты меня ужасаешь». – «Я влюблен, ты знаешь, могу ли я любить хладнокровно. Счастие мне улыбалось, рука несравненной Евгении была мне обещана; но явился богатый жених, и мое недостаточное состояние разрушило мое блаженство. Евгения обещана другому. Возможно ли? Но девица… Я ей не противен; но ничто в мире не заставит ее противиться воле родителя. Сам отец расположен ко мне, и если б у меня было хотя небольшое имение, конечно, предпочел бы меня этому богачу». – «Куда ты едешь?» – «Хочу взглянуть на счастливого соперника, узнать, достоин ли он счастья, которое его ожидает. Ах, если б я был уверен, что она будет с ним благополучна; это несколько облегчило бы растерзанное мое сердце». Ленский задумался, Лидин подошел к окну, смотрел на покрытые снегом долины и не видел ничего. Приход станционного смотрителя вывел двух друзей из задумчивости. Лошади были готовы. Ленский, узнав, что Лидин едет к Новугороду, обрадовался милому попутчику. Они сели в одну повозку, и белые облака сверкающего от солнца снега поднялись из-под копыт лошадей, колокольчик зазвенел, начал утихать, совсем замолк, и повозка двух друзей скрылась за алыми парами утреннего тумана. Верстах в двадцати от Новагорода есть маленькая деревенька; серенький домик с зелеными ставнями и решетчатым палисадником стоит в стороне от дороги, окруженный высокими деревьями. Повозка Лидина и бричка Ленского поворачивают прямо к дому – останавливаются: наши путешественники выходят, отряхивают с себя снег и по деревянному крыльцу идут в уютный домик. «Вот, друг мой, – сказал Ленский, подводя Лидина к вышедшей навстречу старушке, – вот моя тетка, родная сестра моей матери. Рекомендую вам, любезная тетенька, моего друга, моего бывшего соученика Лидина. Мы едем в Новгород и остановились у вас ночевать. Вы не ожидали никаких поздних гостей». Учтивая старушка наговорила множество вежливостей Лидину, отвела друзьям особенную комнату и оставила их одних.

Лидин, сидя на софе, рылся в своем чемодане, а Ленский, прохаживаясь по комнате, курил трубку. «Я так рассеян, – сказал сей последний, – что забыл спросить тебя об имени будущей твоей жены». – «Имени ее я сам еще не знаю, – отвечал Лидин, – а фамилия ее Бильская». – «Бильская!.. – воскликнул Ленский. – Бильская!..» Он бросил трубку, закрыл руками лицо и медленно опустил голову на софу. «Что с тобою сделалось? – сказал смущенный Лидин, бросаясь к нему. – Ты встревожен, ты не хочешь смотреть на твоего друга». – «Оставь меня… я несчастен… но… – Тут глубокий вздох прервал слова его. – Но я спокоен, – продолжал он. – Ты достоин ее, она будет с тобой счастлива, и… я спокоен. Не спрашивай меня. Оставь несчастного». – «Боже мой! Какая ужасная мысль, – сказал Лидин, бледнея и едва переводя дыхание, – ты влюблен в Бильскую! Жестокий друг! Зачем лишаешь меня единственного блага в мире!» Он начал ходить, ломать руки, то останавливался, то ускорял шаги свои, и слезы лились ручьями из глаз его.

Добрый Ленский утешал, сколько мог, своего друга, обещал с твердостию перенести свое несчастие и уверял, что дружба заменит ему любовь; но Лидин знал всю цену Евгении и потому не мог верить его словам. Перед рассветом Ленский заснул, но сон бежал глаз Лидина. Он поспешно одевается, приказывает привести со станции лошадей, берет бумагу, перо, садится писать; но перо невольно выпадает из рук его. «Всемогущий Боже! – вскричал он, упав на колена. – Подай силы слабому смертному принести достойную жертву добродетели!» Он простирал руки к небесам и как бы готовился принять слетающего к нему с надзвездных высот Ангела-утешителя. Что-то трогательное, что-то величественное видно было во всех чертах его. Долго боролся он с самим собою, наконец стремительно встал, схватил перо и произнес ужасным голосом: «Лидин! Ты умер. Добродетель покрыла гроб твой тяжелым, но белым камнем. Не спорь с нею – ты умер. Евгения – жена Ленского». Холодный пот покрыл бледное чело

его. «Ты умер для Евгении; но жив для добродетели, – сказал он нежно, – жив для дружбы и священных ее обязанностей».

Он написал бумагу, в которой дарил Ленскому пятьсот душ крестьян. Написал письмо к Бильскому, которым отказывался от руки его дочери, и наконец следующие строки к своему другу:

«Ленский! Прими от руки друга средство к твоему соединению с Евгениею. Ты достоин ее. Не возражай мне. Я не увижу тебя до тех пор, пока не узнаю о твоем браке с Бильскою. Место моего пребывания будет для тебя сокрыто. Но когда священный обряд навек соединит вас, примите меня в число друзей ваших и будьте уверены, что Лидин будет достоин вашей дружбы». Он запечатал все бумаги, положил их на стол пред Ленским, взглянул на него; слезы заблистали на его глазах. «Прочь отсюда, прочь!» – сказал он в сильном волнении, схватил чемодан, завернулся в плащ и побежал из комнаты.

«Пустите меня! Пустите! – раздался женский голос, и Бильская бросилась в объятия Лидина. – Великодушный человек! – продолжала она. – Я твоя. Я все видела: испытание кончилось, Ленский – брат мой». Лидин стоял как окаменелый и быстро смотрел в глаза Евгении. «Я все вам объясню, – сказал, улыбаясь, старик Бильский. – Шалунья хотела испытать вас. Мы приехали сюда к ее тетке, отправили брата ее к вам навстречу и поручили ему сыграть эту комедию». – «Каково притворяюсь я влюбленным, – подхватил Ленский, вскочив с дивана и обнимая Лидина, – не правда ли, что могу быть первым любовником на любом театре?»

Ленский стоял как окаменелый.

«Окно, которого вы не заметили в вашей горнице, – продолжала Евгения, – подало мне средство видеть вас. Добродетельный ваш поступок превзошел наши ожидания».

«Но его зовут Ленский», – сказал Лидин, показывая на своего друга. «Понимаю, – отвечала Евгения, – разность фамилий приводит вас в замешательство. Мы разных отцов, матушка вдовою вышла замуж за будущего вашего тестя». Лидин пришел в себя, бросился обнимать Бильского, дочь его и своего друга, своего брата. Счастие не оставляло с сей минуты добродетельных супругов. Резвясь с прелестными малютками и нежно смотря на прелестную жену свою, Лидин часто говорил с вдохновенною нежностью: «Друзья мои! Жертвуйте всем на свете добродетели!»

1832

Дмитрий Григорович
(*1822–1900*)
Прохожий
Святочный рассказ

I

…Да, поистине это была страшная ночь! Старики говорили правду: такая ночь могла только выпасть на долю Васильеву вечеру. И в самом деле, всем и каждому чудилось что-то недоброе в суровом, непреклонном голосе бури. Из пустого не стали бы выводить страхов (этак, пожалуй, пришлось бы бояться каждой метели, а между тем и всей-то зимы никто не боится)! Всякий знает, что зима ходит в медвежьей шкуре, стучится по крышам и углам и будит баб топить ночью печи: идет ли она по полю – за ней вереницами ходят метели и просят у нее дела; идет ли по лесу – сыплет из рукава иней; идет ли по реке – кует воду под следом на три аршина, – и что ж? – всякий встретившийся с нею прикутается только в овчину, повернется спиною да идет на полати! На этот раз, однако ж, иное было дело.

Посреди свиста и завывания ветра внятно слышались дикие голоса и стоны, то певучие и как будто терявшиеся в отдалении за гумнами, то отрывчатые, пронзительные, раздававшиеся у самых ворот и окон и забравшиеся даже в трубы и запечья. Выходит ли кто на улицу – перед ним носились незнакомые, чуждые образы; из мрака и вихрей возникали то и дело страшные, никому неведомые лики… Да, старики говорили правду, когда, прислушиваясь чутким ухом к реву метели, утверждали они, что буря буре рознь и что шишига[15], или ведьма, или нечистая сила (что все одно) играла теперь свадьбу, возвращаясь с гулянок. Но хорошо им было так-то разговаривать, сидя на горячей печке. Что им делалось посреди веселья, криков ребят и шумного говора гостей, наполнявших избу! (В Васильев вечер, как ведомо, одна только буря злится да хмурится.) Студеный ветер не проникал их до костей нестерпимым ознобом, снежные хлопья не залипали им очи, шипящие вихри не рвали на части их одежды, не опрокидывали их в снежные наметы… как это действительно было с одним бедняком, прохожим, брошенным в эту ночь посреди поля, далеко от жилья и голоса человеческого.

Много грозных ночей застигало прохожего, много вьюг и непогод вынесла седая голова его, но такой ночи он никогда еще не видывал. Затерянный посреди сугробов, по колена в снегу, он тщетно озирался по сторонам или ощупывал костылем дорогу: метель и сумрак сливали небо с землею, снежные горы, взрываемые могучим ветром, двигались как волны морские и то рассыпались в обледенелом воздухе, то застилали дорогу; гул, рев и смятение наполняли окрестность. Напрасно также силился он подать голос: крик застывал на губах его и не достигал ни до чьего слуха: грозный рев бури один подавал о себе весть в мрачной пустыне. Отчаяние начинало уже проникать в душу путника, страшные думы бродили в голове его и воплощались в видения: на днях знакомый мужичок, застигнутый такою же точно погодой, сбился с пути на собственном гумне своем, и на другой день, об утро нашли его замерзшего под плетнем собственного огорода; третьего дня постигла такая же участь бабу, которая не могла найти околицы; вечор еще посреди самой улицы нашли мертвую калику перехожую, которая за метелью не различила избушек.

Так думал прохожий; а вьюга между тем с часу на час подымалась сильнее и сильнее.

---

[15] *Шишига* – кикимора.

Вот повернула она, поднялась хребтом на пригорке, закрутилась вихрем, пронеслась над головой путника, загудела в полях и ударила на деревню. Вздрогнули бедные лачужки, внезапно пробужденные от сна посреди темной холодной ночи; замирая от страха, они тесно прижались друг к дружке, закутались доверху своим снежным покровом, прилегли на бок и трепетно ждут лютого вихря. Но вихрь, привыкший к простору, рвется и мечется пуще прежнего в тесных закоулках и улицах. Разбитый на части, он, разом со всех сторон, нападает на лачужки, всползает на шаткие стены, гудит в стропилах, ломает там сучья, срывает воробьиные гнезда, сверлит кровлю и, выхватив клок соломы, бросается на кровлю, силясь сбросить петушка или конька на макушке; и тогда как одна часть бури ревет вокруг дома, другая уже давно проползла шипящею змеею под ворота, ринулась в клети и сараи, обежала навесы и, не найдя там, вероятно, ничего, кроме вьющегося снега, напала на беззащитную жучку, свернувшуюся клубком под рогожей… Но вот вихрь прилег наземь, загудел вдоль плетня, украдкою подобрался к калитке, поднялся на дыбы, сорвал ее с петель, бросился на улицу, присоединился к другому, третьему, и снова грозный рев наполняет окрестность…

Но что до этого! По всему крещеному миру не было все-таки бедной избенки, не было такого скромного уголка, где бы не раздавались веселые песни, где бы не было тепло и приятно! Там – шумная толпа ребятишек резво прыгает по лавкам и нарам, выбрасывая из рукава нарочно припасенные про случай хлебные зерна и звонко распевая: «Уроди, Боже, всякого хлебца, по закорму, что по закорму, да по великому, а и стало бы того хлебушка на весь мир крещеный!..» Между тем старшая хозяйка дома – мать или тетка, – отбиваясь одной рукою от колючих игл овса и гречи, пущенных в нее как бы нечаянно шаловливым парнем, другою приподняв над головою зажженную лучину, суетливо ходит взад и вперед и набожно подбирает зерна в лукошко для будущего посева. Остальные члены семьи, кто, усевшись под иконы, кто, стоя в углу, молча, но весело глядят на совершение обряда; даже старая подслеповатая бабушка, много лет не сходившая с печки, свесилась на перекладину поглядеть на внучек – на семейную радость!

В другой избе крики и хохот раздаются еще громче. Рой молодых девок натискался в избу. Двери плотно заперты; окно на улицу завешено прорванной поневой. Одна из девок – самая вострая – стоит на слуху в сенечках: не идет ли кто. Остальные заняты делом: кто повязывает на голову войлок, обвитый вокруг палки, кто натягивает армяк или покрывает маленькую головку неуклюжей шапкой, обтыканной по краям, ради смеха, льняными прядями, обсыпанными мукою; кто прикутывается в овчину, вывороченную наизнанку, – это ряженые! Хохот, визг, шушуканье, писк не прерываются ни на минуту. Надо же весело справить последний день Васильева вечера! В третьей избе громкий говор и восклицания сменились на минуту молчанкою. Ребята, бабы, большие и малые, все пришипились. Там, под сладкий шумок веретена и прялки, тянутся мерные россказни старика-деда. Семейка села в кружок и, пригнувшись к одной лучине, не пропускает ни одного звука, ни одного движения рассказчика. Рассказ, прерываемый треском мороза, который стучит в углы и заборы, благополучно дотянулся, однако ж, за полночь. Лучина скоро угаснет. И тогда вся семья, женатые и холостые, большие и малые, заползут на печку и предадутся мирному отдыху, нимало не заботясь, что вьюга ревет и завывает в поле и вокруг дома…

О! Счастлив, сто раз счастлив тот, у кого в такую ночь родной кров, родная семья и теплая печка!.. Так, по крайней мере, думал… но не до того, впрочем, было прохожему, чтобы умом раскидывать! Отчаяние уже давно завладело его душою. И если какие-нибудь мысли и приходили ему в голову, им все-таки не время теперь было определяться в ясную думу; они мелькали перед ним так же быстро, как снежные хлопья, несомые лютою метелью, посреди которой стоял он с обнаженною седою головою и замирающим сердцем, – и так же быстро уносились и сменялись другими мыслями, как один вихрь сменялся другими вихрями…

Силы начинали покидать его. Он провел окоченевшею ладонью по мерзлым волосам, окинул мутными глазами окрестность и крикнул еще раз. Но крик снова замер на помертвелых устах его.

Прохожий медленно опустился в сугроб и трепетною рукою сотворил крестное знамение. Буря между тем пронеслась мимо: все как будто на минуту стихло… и вдруг нежданно, в стороне, послышался лай собаки… Нет, это не обман – лай повторился в другой и третий раз… Застывшее сердце старика встрепенулось; он рванулся вперед, простер руки и пошел на слух… Немного погодя ощупал он сараи, и вскоре из-за угла мелькнули перед ним приветливые огоньки избушек.

II

Хозяин в дому – как Адам в раю,
Виноградье красно-зеленое.
Хозяйка в дому – как оладья в меду,
Виноградье красно-зеленое.
Малые детушки – как олябышки,
Виноградье красно-зеленое!

Народная песня

– Ах вы, пострелы вы этакие!.. Вишь, заладили: пусти да пусти на улицу! Уйметесь вы али нет?.. – закричала в сотый раз старостиха, подбегая дробным шажком к нескольким парнишкам и девчонкам, которые стояли у дверей и голосили на всю избу. – Молчать! Вот я вам погуляю!.. Молчать, говорят!.. – прибавила она, внезапно останавливаясь над маленькою толпою с распростертыми в воздухе руками, как коршун над стадом утят.

Но ребятишки успели уже выхватить из среды своей младшего брата, неуклюжего карапузика лет пяти, с огромным куском ржаной лепешки во рту, выставили его вперед и, прежде чем руки матери опустились книзу, отступили в угол.

– Это Филька кричал, а не мы… – проговорили они в один голос, тискаясь друг на дружку.

– То-то – Филька, я вам дам Фильку, смотрите вы у меня! – произнесла старуха, отступая, в свою очередь, и грозя в угол.

Она повернулась к ним спиною и мгновенно обратила вскипевшую досаду на старшую дочь – девушку лет семнадцати, сидевшую на лавочке, подле окна.

– Ну, чего ты сидишь – ноги-то развесила, – начала старуха, принимаясь снова размахивать руками, – что сидишь?.. Неушто не видишь – лучину надо поправить, словно махонькая какая: все ей скажи да скажи, сама разума не приложит!..

Девушка встала, молча вынула из горшка новую лучинку, зажгла ее, подержала огнем книзу, заложила в светец и села со вздохом на прежнее место. Дурное расположение старухи нимало, однако ж, не изменилось. Волнение и досада проглядывали по-прежнему в каждом ее движении. Она суетливо подошла к окну, прислушалась сначала к реву бури, которая сердито завывала на улице, потом вернулась на середину избы и, обнаруживая сильное нетерпение, начала вслушиваться в храпенье, раздававшееся с печки.

– Левоныч, а Левоныч, – заговорила она наконец, топнув ногою и устремляя глаза на рыжую бороду, которая выглядывала вострым клином из-за края печки. – Левоныч, слышь, говорят, вставай! Ну чего ты, в самом-то деле, разлегся, словно с устали; полночи дожидаешься, что ли? Вставай, говорят!

– О-о-о! Господи!.. Господи!.. Чего тебе, ну? – отозвался староста, зевая и потягиваясь.

– Тьфу, увалень! Прости Господи! Тебе что? Тебе что?.. – подхватила она с сердцем и стараясь передразнить его. – Тебе что?.. Сам наказывал будить; память заспал, что ли? Я чай, у Савелия давно завечеряли; ты думаешь – староста, так и ждать тебя станут, – нешто возьмешь; вставай, говорят!

– Ммм… – простонал староста, переваливаясь на другой бок; при этом борода его исчезла и на месте ее показалась багровая, глянцевитая лысина, на которой свет лучины отразился, как в стекле.

– Слышь, говорят, понаведались за тобою от Савелья, сказывают, и мельник там, и пономарь, – крикнула она, обнаруживая крайнее нетерпение.

Но на этот раз лысину покрыл овчинный полушубок, и уже старостиха ничего не услышала, кроме удушливого храпа и сопенья.

Старостиха была баба норовистая и ни в чем не терпела супротивности. Не раздумывая долго, она бросилась к печке и занесла уже правую руку в стремечко, с твердым намерением стащить сонного старосту на пол, как в эту самую минуту раздалась стукотня в окне, и вслед за тем кто-то запел тоненьким голосом:

Коляда, коляда!
Пришла коляда!
Мы ходили, мы искали
По всем дворам, по проулочкам…

– Мамка, пусти к ребятам на улицу! – заголосили в то же время ребятишки, выступая из угла. – Пусти хоша поглядеть…

– Цыц, окаянные! Цыц! – крикнула старостиха, ухватившись второпях за ногу мужа и поворачивая назад голову.

– Мамка, мамка!.. – заголосили громче парнишки, подстрекаемые пением за окном, которое не умолкало. – Пусти поглядеть на ребят…

Но старостиха недослышала далее; она соскочила наземь, схватила веник и со всех ног метнулась в угол. Ребятишки снова выставили вперед Фильку. Но на этот раз дело обошлось иначе. Старуха ухватила своего любимца за шиворот, веник зашипел, Филька испустил пронзительный крик и болтнул в воздухе ногами.

– Вот тебе, вот тебе!.. – проговорила мать, скрепляя каждое слово новым ударом. – Ну перестань же, перестань, – присовокупила она, смягчая неожиданно голос и увлекая его к столу, – перестань, говорят; на пирожка, на пирожка, – продолжала старуха, суя ему под нос кусок, – на пирожка… А, так ты не хочешь, пострел, не хочешь… на же тебе, на тебе! – И веник снова зашипел в воздухе. – Ну, на пирожка… возьми… О! О! Уймешься ты али нет?! Опять!.. Постой же, постой…

И веник поднялся уже в третий раз, как за окном раздался новый стук, но только сильнее прежнего, и тот же голос запел, но только настойчивее:

Чанны ворота!
Посконна борода.
Кричать ли Авсень?..

– Матушка, подай им хоть лепешку, – сказала старшая дочь, робко взглядывая на мать и потом обращая с любопытством живые черные глаза свои на окно, – они, матушка, так-то хуже не отстанут…

– Не отстанут! Ах ты, дура, дура! – крикнула старостиха, бросая Фильку и останавливаясь впопыхах посередь избы. – А вот погоди, я им дам лепешку…

Но шум под окном обратился уже в неистовые крики, сопровождаемые присвистыванием, прищелкиванием, и голос распевал во все горло:

Чанны ворота,
Посконна борода,
Честь была тебе пропета,
Подавай лепешку
В заднее окошко!

Присоединенный к этому вой Фильки и рев остальных детей остервенили вконец старуху; и бог весть, чем бы все это кончилось, если б не голос старосты, который раздался почти в то же время с печки:

– Старуха… О! Что у вас там такое? Соснуть не дадут… никак, колядки задумали петь… гони их…

– А сам-то ты что лежишь на печке, увалень ты этакой?! Бьюсь не добьюсь поднять его на ноги. Тьфу!..

Старый черт, подай пирога,
Не дашь пирога – изрубим ворота.
Авсень!.. —

раздалось под окном.

– Вишь, черти! – вымолвил староста, подпираясь локтем и лениво потирая лысину. – Поди уйми их, старуха, чего стоишь?

Старостиха подняла окно и высунулась на улицу; но почти в ту же минуту отскочила на середину избы. Несколько комков снега влетели вслед за нею.

– Ух, окаянные! Ух, дьяволы! – завопила старуха, протирая глаза и метаясь как угорелая из угла в другой. – Где кочерга?.. Где? А все ты, увалень! Лежит себе, словно с ног смотался, – не шелохнется, хоть дом гори.

На будущий год
Осиновый тебе гроб… —

крикнул кто-то звучным голосом, ударив кулаком в оконную раму.

– А вот погоди, погоди, – проговорил староста, спускаясь наконец с печки. – Дам тебе осиновый гроб; это, я знаю, все Гришка Силаев озорничает; погоди, я тебе шею накостыляю, – заключил он, став на пол и протирая глаза. – Вы чего?.. Ну, чего воете?

– Тятька, пусти нас на улицу! – жалобно отозвались ребята.

– «На улицу»! Прытки добре; слышите, погода какая, замерзнуть, небось, хочется… Парашка, давай кушак да шапку – они, кажись, на лавке под образами, – давай, пора идти, я чай, и взаправду у Савелия завечеряли… – промолвил он, обращая сонные глаза на старшую дочь, которая во все это время так же неподвижно сидела на лавочке, изредка лишь завистливо поглядывая на уличное окно.

– Ну вот, давно бы так, ступай-ка, ступай!.. И то два раза спрашивали, – сказала старуха, торопливо подавая варежки.

– Вот что, хозяйка, – вымолвил муж, останавливаясь у двери, – смотри без меня никого не пущай в избу; не равно ряженые придут – гони их в три шеи… Повадились нынче таскаться… А пуще всего не пущай Домну. Чтоб и духу ее здесь не было…

– Чего ей ходить-то, – недовольным голосом возразила жена, – небось, не придет… Да вот постой, я припру за тобой шестом калитку…

Сказав это, она набросила полушубок на плеча и, ворча что-то под нос, поплелась за мужем. Очутившись на крылечке, староста остановился, ошеломленный стужею и ветром, который с такой силой мутил по двору снег, что нельзя было различить навесов.

– Ух! Морозно добре стало, старуха… ух… Ишь как ее, погодка-то разгулялась… у!..

Он ухватился обеими руками за шапку и попятился назад.

– Ну вот еще что выдумал! Первинка тебе, небось, ступай, ступай; тебе так спросонья почудилось; вестимо, ветер гудет – зимнее дело; ступай, у Савелия давно уже, я чай, завечеряли, – ступай, говорю, не срамись…

И, вцепившись в мужнин кожух, она почти силою стащила его с крылечка и повлекла по двору.

Пробравшись к воротам, она отворила калитку, оглянулась во все стороны и наконец вытолкнула мужа на улицу. Видно было, что она ждала кого-то и боялась, чтобы муж не встретился с гостем. Как только шаги его заглушились ревом бури, лицо старостихи просветлело; вопреки обещанию, она отворила настежь калитку и вернулась в избу.

– Ну что ж ты, Параша, сидишь? Отец ушел, и ты ступай на улицу, – сказала она, неожиданно обращая речь к старшей дочери.

– Я думала, матушка, ты не велишь… – отвечала девушка, радостно вставая с места.

– Мамка, пусти и нас! – произнес сквозь слезы голос из угла.

– Што-о-о!.. – воскликнула старуха, быстро поворачиваясь к углу.

Злосчастный Филька снова предстал было перед матерью, но с тою, однако ж, разницею, что на этот раз он сильно упирался ногами, кричал во все горло и отбивался руками и ногами от рук сестер и братьев, которые за него прятались.

– Чего вы, пострелы, все его вперед суете? Я нешто не вижу?.. Подь сюда, касатик, – заключила старостиха, гладя по голове своего любимца и закутывая его в то же время в полушубок. – Ну, – крикнула она, взглядывая нерешительно на угол, – ступайте на улицу!..

Радостный крик, единодушно вырвавшийся из угла, был единственным ответом.

– Цыц, пострелы! – задребезжала старуха, затыкая сначала уши и пускаясь потом вдогонку то за одним, то за другим. – Цыц! Никого не пущу… Тьфу, окаянные, прости Господи! Пошли вон!.. А ты, моя касатушка, не смей у меня шляться по улице! – прибавила она, повертываясь к Параше, которая взялась уже за скобку двери. – Будь довольна, что из избы-то тебя выпустили… не стать же тебе шаламберничать с ребятами; сиди у ворот, шагу не смей ступить без спросу!..

Девушка, не ожидавшая, вероятно, такого притеснения, опустила к полу веселое свое личико и молча последовала за своими братьями и сестрами, голоса которых раздавались уже за воротами.

III

Ах ты, Домна Домна…
баба ты удалая!

Народная песня

Секунду спустя старостиха осталась одна-одинешенька посреди избы. Этого только, казалось, и добивалась она так долго. Ворчливое выражение на лице ее мигом сменилось какою-то довольною заботливостью. Она бросилась к печке, вынула один за другим несколько горшков, поставила их на стол против образов и приготовила все нужное для сытной трапезы; после этого старуха поспешно набросила на голову старый зипун, зажгла лучину и, заслоняя ее ладонью от ветра, вышла в сени. Тут пригнула она набок голову и стала внимательно вслушиваться; убедившись, что слышанный ею шум происходил единственно от бури, старуха захлопнула дверь на крылечко и вошла в каморку или чулан, прилепленный, как ласточье гнездо, к одному из углов сеней.

Сквозь щели этого чулана, сколоченного живьем из досок, не только проходил свободно ветер, но даже сеялся в изобилии снег, и многих трудов стоило старостихе найти укромное место для лучины; приткнув ее наконец кой-как за пустую бочку, она вытащила из-под нары сундучок, отворила его с помощью витого ключика и принялась выкладывать на пол разное добро: поочередно выступили, одна за другою, старые понявы, куски холста, мотки, коты, низанные бисером подзатыльники и, наконец, полотенца; добравшись до последних, старуха бережно отложила два из них в сторону и продолжала разбирать свое имущество. Она уже подбиралась к самому дну сундучка, как вдруг на крылечке послышалось топанье чьих-то ног; старостиха насторожила слух и затаила дыхание. Раздавшийся немного погодя кашель возвратил, однако ж, спокойствие на лицо ее; откашлянувшись в свой черед, она сунула под мышку отложенные два полотенца и, приподняв над головою лучину, вернулась в сени; задвижка щелкнула, дверь на крылечко отворилась, и в сени вошла, покрякивая и оттаптывая ноги, дюжая, плечистая баба с пухлыми щеками и крошечными черными глазками, которые бегали, как мышонки, несмотря на то, что им, очевидно, тесно становилось посреди многочисленных складок, образовавшихся от наплывшего жиру. В одной руке держала она довольно полновесный горшок, прикрытый тряпицею; другая рука ее придерживала на груди прорванную шубейку, которая прикрывала ей плечи и голову. Увидя перед собой старостиху, дюжая баба приподняла горшок так, чтобы он бросился ей тотчас же в глаза, и поклонилась.

– Здравствуй, Домна Емельяновна, добро пожаловать! – произнесла та, кланяясь в свою очередь.

Вслед за тем она прикрыла полою зипуна лучину и отошла немного в сторону.

– А что, касатушка, никого у вас нет? – прохрипела Домна, осматриваясь нерешительно на стороны.

– Никого, родная, все, и малы и велики, со двора ушли, – отвечала старостиха, утвердительно моргая глазами.

Услыша это, гостья мгновенно приободрилась, отряхнула снег, покрывавший шубейку, постучала ногами об пол и оправилась. После того она повернулась спиною к хозяйке и, обмакнув несколько раз сряду жирную ладонь свою в горшок, принялась опрыскивать какою-то жидкостью притолку, стены сенечек и порог, нашептывая что-то под нос. Старостиха стояла во все это время в углу, как стопочка, и только моргала глазами: сморщенное лицо ее поворачивалось и следило, однако ж, подобострастно за каждым движением гостьи. Наконец она про-

ворно вынула одно полотенце и, улучив минуту, когда Домна окончила причитание, подала его с поклоном.

Ощупав полотенце, Домна снова повернулась спиною, покосилась на старуху и, сделав вид, как будто обтирает им спрыснутые дверь и пол, спрятала его за пазуху. После того она закрыла горшок, поставила его на пол и подошла к старостихе как ни в чем не бывало.

– Спасибо тебе, Домна Емельяновна, что понаведалась, – сказала старостиха, отвешивая маховой поклон, – а я уже чаяла, касатка, ты за метелю-то не зайдешь ко мне; выходила за ворота, смотрю: гудет погода; нет, думаю, не бывать тебе…

– И-и-и… Христос с тобою, с чего ж не бывать? Уж коли посулила, стало, приду, – отвечала скороговоркою Домна, – да и пригоже ли дело, родная, солгать в такую пору…

– То-то, болезная… зайди в избу, Емельяновна, – отогрейся.

– Спасибо тебе на ласковом слове, – отвечала Домна.

Старостиха отворила дверь, и обе вошли в избу.

Хозяйка засуетилась у печки и, пригласив гостью присесть к образам, поставила перед ней скляницу, заткнутую ветошью, вместе с толстеньким стаканчиком, вертевшимся на донышке как волчок. Гостья не долго отнекивалась, выпила вино бычком, т. е. одним духом до последней капельки, и, кашлянув, закусила пирожком с кашей.

Вообще, должно сказать, Домна не была бабою ломливой или привередливой. Баба она была бойкая, вострая! Да и можно ли, по-настоящему, быть иначе сироте бесприютной, вдове беспомощной? Известно, живешь мирским состраданием, пробавляешься чужими крохами, тут всякий, того и смотри, сядет тебе на плечи, да еще спасибо скажешь, коли в шею не наколотят. Домна знала это как нельзя лучше, а потому, желая избегнуть, по возможности, сиротской невзгоды, и норовила всегда сама сесть на чужие плечи. «И будь без хвоста, да не кажися кургуз», – говорит пословица. И так ловко повела она свое дельце, что никто не пенял на нее; каждый, напротив, встречал ее с поклоном и принимал с почетом. С уголька ли спрыснуть, заговорить ли от прострела, смыть ли лихоманку – везде и всегда она одна.

Незадолго еще до настоящего времени слыла она первою запевалкою и хороводницею во всем околотке, никто не подлаживал так складно под песню в обломок косы, никто не выплясывал и не разводил так ловко руками, ничей голос не раздавался звучнее; но с тех пор, как надорвала она горло на гулянке в день приходского праздника, и голос ее, дребезжавший, на всеобщее удивление, как неподмазанное колесо, захрипел, как у опоенной клячи, слава ее в околотке стала еще почетнее. Леший ее знает, как она это делала, но теперь в соседних деревнях без Домны – что без правого глаза. Без нее не обходится ни одна свадьба, потому что, не будь Домны, и свадьбе бы не состояться; она поклонилась отцу, поклонилась матери и уладила дельце; на пирах является она бабкою-позываткой: первая затевает пляску, первая пьет сусло и бражку. В зимние, долгие вечера Домна – не баба, а просто золото. Она все знает: кто хочет или задумал только жениться, кого замуж выдают, где и за что поссорились люди; там строчит она сказку узорчатую, тут поворожит, здесь спрыснет студенцем – словом, на все про все. И крова, кажись, нету, мужа нету – сирота как есть круглая, а живет себе припеваючи. Да и о чем тужить? Сама не раз говорила Домна: «И то правда, касатушки, под окошечком выпрошу, под третьим высплюсь, – поддевочка-то сера, да волюшка-то своя!..»

Так вот какова была гостья старостихи.

– Ну что, касатка, я чай, у соседей была? – спросила старостиха, придвигая к ней пирог.

– Как же, родная, – скороговоркою отвечала Домна, косясь одним глазом на скляницу, другим – на чашку с гороховым киселем, – когда ж и быть-то, как не нынче? Кому охота напустить к себе в дом злую лихость? Та – Домна Емельяновна, пособи, другая также! Ну, я не отнекиваюсь от доброго дела; вестимо, долго ли накликать беду; о-ох! знамо, не простой день, касатка, – Васильев вечер… Ноне, болезная ты моя, лихоманку-то выпирает из преисподней морозом… Вот она и снует, окаянная, по свету – ищет виноватых; где теплая изба, туда и

она… притаится это за простенок али притолку и ждет, нечисть, не подвернется ли кто… Я сама их видала, всех сестер видала… уж в чем, кажись, только душа есть: тощие, слепые, безрукие такие… а не смой из дому – затрясут, поди, до смерти, – завиралась Домна, надламывая пирожка и взглядывая на старостиху, которая сидела против ее на лавочке и, прищурившись, как кошка на печке, мотала в тягостном раздумье головою.

– Вот скажу тебе, – продолжала Домна, – видела я мужика в Груздочках, так уж подлинно жалости подобно… И здоров был, и росл, что хмелина в весну, а как напала это она на него, – похирел, словно трава подкошонная… А все оттого, что жена его поартачилась да не пустила смыть лихоманку в Васильев вечер…

– Ахти, касатка, эки дела какие! Что ж она – недобрая мать, – злобу какую на мужа-то имела?.. – спросила старостиха.

– А кто ее знает, я немало ее тогда уговаривала…

– Да что ж ты, родная, не пьешь, не ешь ничего… – произнесла хозяйка, принимаясь суетиться, – не позорь нашего хлеба-соли… выпей еще стаканчик…

– Спасибо тебе на ласковом слове, – отвечала Домна, радостно принимая приглашение, – ну, так вот, родная, как почала она трясти его, трясла уж она это трясла, чуть не до смерти, насилу отшептали, совсем было сгиб человек… Да постой, не нынче, так завтра у нас в деревне прилучится такое дело – коли еще не хуже…

– О-ох! – произнесла старостиха, со страхом озираясь на сторону. – Что ж такое, родная?..

– А вот что, – отвечала Домна, отдувая багровые свои щеки, – захожу это я нынче об утро к Василисе, соседке твоей, – вестимо, касатка, не из корысти какой, чтоб мне сошлось что за хлопоты, захожу к ней, а так, по простоте моей сиротской, известно, люди бедные, нешто с них возьмешь… Маешься ты, говорю, Василиса, со своим сыном; дай, говорю, отведу я от него нечистую силу, нынче только, говорю, и можно образумить каженника – сама, чай, ведаешь, день какой. Куда те! И слышать не хочет; да это бы еще нешто, Бог с ней, а то туда же, окрысилась на меня: вы, говорит, по деревне про сына пустили толки, то да се… Ну, думаю себе, делай как знаешь, сама напоследях спокаешься, несдобровать тебе с твоим каженником!..

Тут Домна покосилась украдкой на старостиху и сказала, понизив голос:

– Ты, касатка, не подпушай его, смотри, близко к дому, я давно хотела с тобой на досуге глаз на глаз поговорить…

Старостиха насторожила уши.

– Он, слышала я от добрых людей, – продолжала таинственно Домна, – за твоей дочкой увивается… избави Господи!.. У каженников дурной глаз! Того и смотри, испортит девку…

– Что ты, касатка, – ох!.. Да подступись он только… Да я и ему-то, и его матери-то все глаза выплюю!.. – возразила с негодованием старостиха. – Я, родная, как только проведала про энто дело, и дочь-то не пускаю со двора, зароком наказала не ходить за ворота…

– То-то, болезная, я не в пронос говорю тебе такое слово; ты девку-то свою не пущай, а он, окаянный, все возьмет свое, коли заберет на ум – напустит на нее лихость, а ты поди плачь, тоскуй опосля… По-моему, до греха надо отвадить его как ни на есть от нее, чтобы девка-то опостыла ему, – без этого не миновать вам беды… Уж лучше, коли на то пошло, продайте вы ее в чужую деревню, я и женишка приищу. Такого ли жениха вам надыть! Да ему и в рот не вкинется, и во сне не приснится такое счастье… Она у тебя пригожее всех молодиц села… Вот доведалась я (люди добрые сказывали), и она, Василиса-то, на то же норовит; стану, говорит, просить барина!.. Пригодное ли дело, касатка, вам с ними родниться? Шиш-голь, да и полно! Вам просвету не дадут: вишь, скажут, породнились с кем!.. Вестимо, кто про что: другому и крохи пропустить нечем, да добрый человек, а этот, болезная ты моя, каженник! Уж что это за человек: чурается добрых людей, словно собак паршивых, ни с кем слова не промолвит, ни в пляску, ни в песни… я тебе говорю: отлучи ты его, до беды, от девки-то!..

– О-ох! Я и сама о том думаю, касатушка… помоги, Домна Емельяновна, – произнесла с явным беспокойством старостиха. – Рада служить тебе всем добром, отведи ты его, Бог с ним, от моей дочери.

Тут старостиха привстала с лавки, поклонилась гостье и положила перед ней на стол второе полотенце.

– Спасибо тебе на ласковом слове, – отвечала Домна, спрятав полотенце, как бы невзначай, за пазуху. – Рада и я служить тебе, изволь, помогу; слушай…

И Домна подсела уже к старостихе и прильнула к ее уху; но в эту самую минуту раздался такой сильный удар в ворота, что обе бабы невольно подпрыгнули на лавочке.

– Ох, родная! – воскликнула Домна, бросаясь впопыхах из одного угла в другой. – Никак, муж твой идет, вот накликали беду!..

Старостиха в это время подбежала к окну, подняла его и взглянула на улицу.

– Нет, касатка, не он, – крикнула она, просовываясь в избу и обращаясь к Домне, которая стояла уже в дверях, – не он: ветер сорвал доску с надворотни. Не бойся, он у Савелия на вечеринке и не скоро вернется, сиди без опаски…

– Ох, касатка, всполохнулась я добре, – вымолвила гостья, отдуваясь и прикладывая ладонь к левому боку, – ну, кабы он, беда, думаю; серчает он на меня… а сама не знаю за что… провалиться мне, стамши, коли знаю…

Но речь Домны снова была прервана таким страшным грохотом под воротами, у плетней и под навесами, как будто буря, собрав все силы свои, разом ударила на избу старосты.

– С нами крестная сила! – пробормотала хозяйка дома, творя крестное знамение.

– Ох, не к добру, родная, – проговорила Домна, крестясь в свою очередь, – слышь, как вдруг все загудело… Ох, вот так-то, как шла я к тебе… иду, вдруг, отколе ни возьмись, замело меня совсем, и зги не видно; куда идти, думаю, и сама не знаю; стою это я, касатка, слышу, кто-то словно подле меня всплакался… да жалостливо так… Ох, не к добру…

Мало-помалу, однако же, и хозяйка, и гостья успокоились. Буря пронеслась мимо. Старостиха бережно заперла двери и снова села на лавочку; Домна откашлянулась, нагнулась к ее уху и стала что-то нашептывать.

IV

Чижик-пыжик у ворот,
Воробышек махонькой…
Эх, братцы, мало нас!
Голубчики, немножко…
Иван-сударь, поди к нам,
Андреевич, приступись…

Народная песня

Параше страх, однако ж, прискучило сидеть под окнами своей избушки. В первое время после того, как проводила она маленьких сестер и братьев за ворота, ее радовало, что привелось по крайней мере раз посидеть свободно на улице, что, может статься, удастся хоть издали прислушаться к веселым песням подруг; полная таких мыслей, она не замечала скуки, пока наконец не увидела ясно, что ожидания обманули ее. Сколько ни напрягала она внимания, всюду слышался рев бури, которая, врываясь поминутно в деревню, грозно завывала, метаясь из конца в конец улицы; глухая ночь царствовала повсюду; изредка лишь, проникая мрак, сквозь снежную сеть мелькали кое-где, как искры, огоньки дальних избушек. Параша не понимала, куда так скоро могла деться резвая толпа ребят и девушек, недавно еще шумевших под ее окнами.

«Неужто запугали их метель и холод? – подумала она, стараясь проникнуть сотый раз в темноту, ее окружавшую. – Чего ж тут бояться?.. О! Если б только дали мне волю присоединиться к ним, я бы всех их пристыдила. А может быть, они забились в избы, не страха ради, а ради забавы… Я чай, гадают они или наряжаются… куда как весело!..» Параша взглянула на окно своей избушки и загрустила еще сильнее прежнего. Не смея ослушаться матери, но со всем тем не желая вернуться в скучную избу, она подошла к завалинке, оттоптала снег в углу, между стеною и выступом бревен, прикуталась с головою под овчинным своим тулупчиком и, съежившись клубочком, как котенок, закрыв глаза, принялась с горя умом раскидывать. Она мысленно переносилась в каждую избу; там невидимкою присутствует она посреди веселого сборища; тут прислушивается к говору парней, здесь подруги наряжают ее: она смотрится в крошечное оправленное зеркальце, глядит и глазам не верит, как пристала к ней высокая шапка с золотом, синий кафтан и красная рубаха с пестрыми ластовицами; в другом месте… но не перечесть всего, о чем думает молоденькая девушка. Кончилось тем, что Параша не утерпела, сбросила с головы овчину, заглянула в окно к матери и, убедившись, вероятно, что с этой стороны не предстояло опасности, соскочила с завалинки и украдкою подобралась к соседней избе.

Изба эта, хилая лачужка, занесенная почти доверху снегом, отделялась всего-навсего от избы старосты длинным навесом, а Параше стоило сделать несколько прыжков, чтобы очутиться под единственным ее окошком.

Девушка прильнула свеженьким своим личиком к стеклу, сквозь которое проникал огонек, и, затаив дыхание, долго смотрела на внутренность избушки. Но и тут, казалось, ожидания обманули ее. Параша нахмурила тоненькие свои брови и думала уже вернуться назад, когда совершенно неожиданно до слуха ее коснулся чей-то тоненький голосок. Голос выходил из-за ближайшего овина; Параша притаилась в угол и стала вслушиваться; голос, очевидно принадлежавший женщине, напевал между тем протяжно:

Ай, звезды, звезды, звездочки!

Все вы, звездочки, одной матушки,
Бело-румяны вы и дородливы!..
Гляньте, выгляньте в эту ноченьку!..

«Это, должно быть, Кузнецова Дунька загадывает себе счастье… – подумала Параша. – Но где же видит она звезды? – продолжала она, закутываясь в тулупчик и поднимая кверху голову. – Ух! Как темно и страшно… ну, долго же придется ей ждать звездочку… А что, все ведь нынче гадают… дай-ка и я себе загадаю… что-то мне выпадет?» Последнее заключила она, стоя уже подле своей избы; она оглянулась сначала на все стороны, потом обратилась снова почему-то к соседней лачужке и произнесла нараспев:

Взалай, взалай, собачонка,
Взалай, серенький волчок!
Где собачка залает,
Там и мой суженой…

Но каково же было удивление девушки, когда с соседнего двора, как нарочно, отозвался лай собаки. Лай замолк, а Параша все еще стояла как прикованная на месте; сердце ее билось сильнее; не доверяя своему слуху, она готовилась повторить песню; но голоса и хохот, раздавшиеся внезапно с другого конца улицы, привлекли ее внимание.

– Тащи каженника, тащи его! Что он взаправду артачится… Тащи его, ребятушки, пущай наряжается с нами… тащи его, не слушай! – кричал кто-то, надрываясь со смеху.

Параша бросилась сломя голову на завалинку, вытянула вперед голову и, казалось, боялась проронить одно слово. Голоса и хохот приближались с каждою минутой; вскоре различила она толпу, которая направлялась прямо к ее избе.

– Ребята, никак, у старосты огонь! Катай туда! – закричал тот же голос, по которому Параша тотчас же узнала первого озорника деревни Гришку Силаева. – Полно тебе, Алешка, козыриться, не топырься, сказано, что не выпустим, так стало, так и будет; полно тебе слыть каженником, пришло время развернуться, мы из тебя дурь-то вызовем… Тсс! Тише, ребята, ни гугу; девки, полно вам шушукаться, никак, кто-то сидит у старосты на завалинке…

– Девушки, касатушки… ох!.. – заговорило в одно время несколько тоненьких голосков.

– Ну, чего вы жметесь друг к дружке, чего? Небось, не съедят, – шепнул Гришка Силаев, – ступайте за мной…

И толпа наряженных, стиснувшись в одну плотную кучку, пододвинулась ближе. Гришка сделал шаг вперед и вдруг залился звонким, дребезжащим хохотом.

– Э! Так это вот кто! Здравствуй, старостина дочка, – произнес он, снимая обеими руками шапку и кланяясь Параше чуть не в ноги.

– Девушки, касатушки, и вправду она! – воскликнули девушки, окружая подругу. – Что ты здесь делаешь? Пойдем с нами, полно тебе сидеть; смотри, как мы нарядились! Пойдем…

– Нет, мне нельзя… я и рада бы, да, право, нельзя, касатушки… того и смотри, матушка позовет… – отвечала Параша, заглядывая вправо и влево и как бы желая различить кого-то в толпе.

– А разве матушка твоя дома? – спросил Гришка.

– Дома.

– И отец дома?

– Нет, отец у Савелия на вечеринке.

Гришка радостно хлопнул в ладоши, прыгнул на завалинку и столкнулся нос с носом со старостихою, которая совершенно неожиданно отворила окно и высунулась на улицу. Гришка свистнул и бросился в самую середину толпы, которая откинулась в сторону.

– Ах вы, проклятые!.. Кто там?.. Чего вам надыть?.. Пошли прочь, окаянные!.. Парашка! Парашка! Что те не докличешься… ступай в избу, где ты? О! Постой, я тебя проучу.

Парашка откликнулась, набросила на голову полушубок и, вздохнув, отправилась к воротам.

– Параша! – крикнул ей вслед Гришка. – Кланяйся маменьке, целуй у ней ручки; скажи, что все, мол, мы, слава Богу, здоровы и ей того мы желаем…

– Ах ты, охлестыш поганый! – взвизгнула старостиха, высовываясь по грудь из окна. – Погоди, постой, я тебе дам знать!

– Что ты, маменька, глотку-то дерешь?.. Не обижайся, за добрым делом к тебе, родная… – отозвался Гришка, пробираясь украдкой с огромным комком снега под полою. – Приходили звать тебя в гости; не равно обознаешься; ищи ты нас вот как: ворота дощатые, собака новая, в избе два окна, как найдешь, прямо придешь! – заключил он, пуская комок в старостиху, которая успела, однако ж, вовремя захлопнуть окно.

Толпа захохотала.

– Эх, промахнулся! – произнес Гришка, отряхая руки. – А жаль, кабы не обмишурился, было бы чем закусить… ишь ее, баба-яга какая… Ребята, назло же ей, слушай: старосты нет, пойдемте к ней в избу… выворотим каженнику овчину, он будет медведем, а я вожаком; ладно, что ли? Ну, Михайло Иваныч, поворачивайся, да не пяль глаза в стороны, сказано, не выпустим, пойдешь с нами! – прибавил он, стаскивая полушубок с плеч молодого парня, который, впрочем, довольно охотно поддавался.

– А ну, быть стало по-вашему! – неожиданно воскликнул молодой парень, отрывая глаза от старостина окна и принимая как будто решительное намерение. – Давайте овчину, я сам выворочу… Ну так, ладно, что ли! – заключил он, просовывая руки в рукава вывороченной овчины и тяжело поворачиваясь перед толпою, которая разразилась звонким смехом.

– Ай да молодец! – заревел Гришка, топая в восторге ногами. – Я вам говорил: на него только наговорили, какой он каженник! Давай другую овчину, закутаем ему голову! Так. Ну-кась, Михайло Иваныч: а как ребята за горохом хаживали… ну-у-у!.. Ай да Алеха! Я говорил вам, не сплохует! Он только прикидывался тихоней, а они ему верили… Ребята, стойте! – крикнул Гришка, останавливая толпу, которая уже двинулась к воротам старостиной избы. – Стойте! По-моему, вот что: дайте ей, старой ведьме, опомниться; она теперь взбеленилась, так уж заодно придется ей серчать… дадим-ка ей лучше простыть, да тогда, на спокой-то, и потревожим ее, пущай-де знает! Пойдемте, как есть, следом к Савелью, теперь пир горой; народу там гибель, потешимся на славу, а там сюда добро пожаловать… так, что ли?..

– Пойдемте, пойдемте! – отозвались все разом.

И толпа, повернувшись лицом к ветру, весело понеслась за Гришкой на другой конец деревни. Но не достигла она и половины дороги, как вдруг буря, смолкнувшая на время, снова ударила всей своей силой; все помутилось вокруг, и ряженые наши не успели сделать одного шагу, как уже увидели себя окруженными со всех сторон вихрем.

– Держись, не вались! – крикнул Гришка, сгибаясь в три погибели и становясь спиною к метели. – Наша возьмет, стой крепче, не робей! Эй вы, любушки-голубушки, – присовокупил он, пробираясь к девушкам, – что пришипились? Играйте песни!..

– Полно тебе, Гришка… Ох, девушки, страшно! Ох, касатушки, страшно! – раздавалось то с одной стороны, то с другой.

– Страшно… у-у-у!.. – произнес Гришка, становясь на четвереньки и принимаясь то хрюкать свиньею, то выть волком. – Ой! Девушки, смотрите-ка, смотрите… вон ведьма на помеле едет, ей-ей, ведьма, у! Смотри, сторонись – хвостом зацепит.

Девушки, прятавшиеся друг за дружкою, подняли головы и вдруг испустили пронзительный крик. В стороне, за метелью, послышался действительно чей-то прерывающийся, замирающий стон… В эту самую минуту ветер рванул сильнее, вихрь пронесся мимо, и в мутных

волнах снега, между сугробами, показался страшный образ старика с распростертыми вперед руками.

Но толпа успела уже разбежаться во все стороны.

V

За дубовы столы,
За набранные,
На сосновых скамьях
Сели званые.
На столах – кур, гусей
Много жареных,
Пирогов, ветчины
Блюда полные!

А. В. Кольцов

Между тем пирушка у Савелия шла на славу; народу всякого, званого и незваного, набралось к нему такое множество, что, кажись, пришел бы еще один человек, так и места бы ему недостало. Даже под самым потолком торчали головы; последние, впрочем, принадлежали большею частью малолетним парнишкам и девчонкам, которые, будучи изгоняемы отовсюду, решительно не знали уже, куда приткнуться. И как, в самом деле, сидеть дома, когда у соседа вечеринка, да еще в какое время – в Святки? Того и смотри, нагрянут ряженые, пойдут пляски, песни… деревенским ребятам все в диковинку! И вот, томимые любопытством, пробираются они сквозь перекрестный огонь пинков и подзатыльников, карабкаются на лавки, всползают на печку и полати, мостятся друг на дружку, лишь бы поглядеть на веселье. Между ними попадаются такие бойкие, которые, не зная, куда девать маленького братишку, заснувшего у них на руках, забрались вместе с ним на зыбкую перекладину и висят себе как ни в чем не бывало!

В избе жарко, как на полке; никто, однако ж, не думает отступать к двери; каждый, напротив того, норовит изо всей мочи как бы протискаться вперед, к красному углу, где происходит угощение. Там, за столом, покрытым рядном, обложенным по краям ложками и обломками пирогов и хлеба, сидели гости званые и почетные. На самом первом месте, под образами, в которых дробился свет восковой свечки вместе со светом сального огарка, воздвигнутого на столе, бросался прежде всего в глаза мельник и жена его, оба толстые, оба красные, как очищенная свекла. Подле них, по правую руку, сидел пономарь из чужой вотчины, долговязый, рябой, как кукушка, косой, как заяц, с вострым обточенным носом и коротенькой взъерошенной косичкой на затылке; жар действовал на него совсем иначе, чем на мельника: он, казалось, сушил и коробил его как щепку. Подле пономаря сидел сотский – крошечный, мозглявый старикашка лет семидесяти пяти, но живой и вертлявый, щупавший поминутно то медаль на груди форменной инвалидной шинели, то дергавший себя за кончики седых волос, изредка торчавших по обеим сторонам лысины; слезливые глаза его щурились постоянно, тогда как рот, украшенный одними деснами, был постоянно открыт и сохранял такое выражение, как будто сотского парил кто-то сзади наижесточайшим образом самым жгучим веником.

По левую руку мельника находился знакомый уже нам староста и рядом с ним хозяин дома – рыжий плечистый мужик, такой же толстый почти, как мельничиха. С обоих пот катил градом, но оба не замечали этого и, казалось, были очень довольны соседством друг друга, потому что то и дело обнимались. По обеим сторонам описанных лиц, на лавочках, подле стола и немного поодаль, сидели еще гости, тоже званые, но менее почетные. Тут были старики, и молодые, и бабы с их ребятами; все они расположились семьями: где муж с женой, где старуха со снохой. Каждая семья явилась в гости с своей чашкой и ложкой; радушие хозяев ограничивалось снабжением съестного, и так как хозяйка приготовила кисленького и солененького вволю, а хозяин припас чем и рот прополоснуть, то гости были очень довольны. Немолчный

говор, восклицания, хохот, раздававшиеся вокруг стола, свидетельствовали о довольстве присутствующих. Но всех довольнее был, по-видимому, все-таки сам хозяин.

– Александр Елисеич, сват! Кумушка Матрена Алексеевна! Кондратий Захарыч! Еще стаканчик, милости просим, понатужьтесь маленько… – кричал Савелий, приподнимаясь поминутно со штофом в одной руке, со стаканом – в другой и кланяясь поочередно каждому из гостей своих. – Александр Елисеич, что ж ты, откушай, полно тебе отнекиваться, ну, хошь пригубь, – прибавил он, обращаясь настойчивее к мельнику, который пыхтел, как бык, взбирающийся на гору.

– О-ох! Не много ли, примерно, будет, Савелий Трофимыч, – отвечал гость, но взял, однако ж, стакан, тягостно возвел к потолку тусклые, водянистые глаза свои, испустил страдальческий вздох и, проговорив: «Господи, прости нам прегрешения наши!» – выпил все до капельки.

– Гости дорогие, милости просим! Данила Левоныч, ты что? Аль боишься уста опорочить? Пей да подноси соседу, – продолжал Савелий, передавая штоф старосте и подмигивая на пономаря, который сидел, раскрыв рот, как птица, умирающая от жажды, что не мешало ему, однако ж, усердно вертеть левым глазом вокруг мельничихи. – Дядя, а дядя, дядя Щеголев! Полно тебе раздобарывать, успеешь еще наговориться… Эх, а еще куражился: всех, говорил, положу лоском! Что ж ты?.. Храбр, видно, на словах! – заключил Савелий, протягивая руку к сотскому, который рассказывал что-то мельнику.

– Подноси, подноси знай, да не обноси, – захрипел старикашка, заливаясь удушливым, разбитым смехом; он взял стакан, бодро привстал с места, произнес: «Всем гостям на беседу и во здравие!» – выпил вино, крякнул и постучал себя стаканом в голову.

– Вишь, балагур, занятный какой; ай да Щеголев! – раздалось со всех концов посреди хохота.

– Так как же тяжко, примерно, вам было в ту пору? – спросил мельник, когда уселся Щеголев.

– А ты думаешь как? – возразил Щеголев, бодрившийся и делавшийся словоохотливее по мере того, как штофы пустели. – Куда жутко пришлось: народ весь разбежался; избы, знаешь ты, супостат разорил, очистил все до последнего зернышка; сами прохарчились… захочешь пирожка, – ладно, мол, льду пососешь; захочешь щец – водицы похлебай, а другого и не спрашивай!..

– А что, примерно, бывал сам в сражении? – перебил мельник, выставляя вперед подбородок и осеняя рот крестным знамением.

– И-и… Александр Елисеич, спросите, где он только не был, каких сражений не видал, ходил под Кутузовым против француза, подлинно любопытствия всякого достойно! – произнес пономарь, значительно обводя косыми глазами компанию и потом стараясь снова остановить их на мельничихе, которая переминалась на одном месте, как откормленная гусыня.

– Так ты Кутузова-то видал? Сказывают, сильный, примерно, был человек… – спросил мельник, глубокомысленно насупивая брови.

– Кутузова-то! – воскликнул Щеголев, заливаясь снова разбитым своим смехом и хорохорясь несравненно более прежнего. – А ты думаешь как! Как сядет, бывало, на коня… ух! Ничего, говорит, не боюсь! Сам батюшка-царь его жаловал, раз на параде собственноручно целовал его. Русак был, настоящий русак! Кутузов, говорит ему, возьми себе за услуги твои Смоленское… возьми уж, говорит, и Голенищева в придачу! Вот так настоящий был воин! Ничего, говорит, не боюсь! Куда ни покажется, так лоском и кладет супостата! Как ты думаешь: сам на коне сидит, а над ним, слышь ты, орел летит… ничего, говорит, не боюсь!..

– Ну а сам-то ты, сам бывал в сражениях? Страшно, чай? – продолжал расспрашивать Александр Елисеич.

– Чего страшно! Ничего не страшно: француз ли, супостат ли… пали, да и только! Бей его, врага-супостата! – крикнул Щеголев, ударив кулаком по столу.

– Я чай, в пушку ударили? – вымолвил пономарь, взглядывая из-за мельничихи.

– В пушки ударили, в барабаны забили – пули и картечи летели нам навстречу! – подхватил Щеголев, отчаянно потряхивая головою, в которой начинала уже бродить нескладица.

– Лександр Елисеич, еще стаканчик, полно тебе спесивиться, – откушай! – перебил Савелий.

– Нет, Савелий Трофимыч, надо настоящим делом рассуждать, ей-ей, примерно не по моготе…

– Кондратий Захарыч, милости просим!

– Много довольны, кушайте сами; много довольны вашим угощением, – отвечал пономарь, принимая стакан и раскланиваясь на стороны.

– Кума Матрена Алексеевна, не обессудь, просим покорно, – продолжал хозяин, осклабляя зубы на мельничиху, которая сидела, понурив голову, с видом крайнего изнеможения, – понатужьтесь еще; дай тебе Господи долго жить да с нами хлеб-соль водить…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.